Виктория Дьякова
ГОСПОЖА КАМЕРГЕР

# Виктория Борисовна Дьякова

# Госпожа камергер

## Серия «Любовный роман (Вече)»

*http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=27362539*
*Виктория Дьякова. Госпожа камергер:*
*ISBN 978-5-4444-9126-3*

## Аннотация

Воспитанница кармелитского монастыря, юная француженка Мари-Клер, приезжает в Россию, где устройством ее судьбы занимается русская графиня Орлова. Графиня, подруга покойной матери Мари, надеется удачно выдать девушку замуж. Но любовь ломает все планы. Избранник бесприданницы – блестящий офицер князь Александр Потемкин – не обращает на нее ровным счетом никакого внимания. В отчаянии Мари совершает опрометчивый поступок – о ее бесчестии узнает весь Петербург, и теперь у нее два пути: вернуться в монастырь или выйти замуж за богатого старика. Но неожиданный поворот судьбы приводит Мари-Клер на Кавказ в самый разгар войны, где ей доверена секретная миссия. Здесь она снова встречает князя Потемкина – теперь от нее зависят спасение возлюбленного и жизни сотен русских солдат…

# Содержание

Пролог 5
Глава 1 46
Глава 2 76
Глава 3 105
Конец ознакомительного фрагмента. 111

# Виктория Дьякова
# Госпожа камергер

*Тебе, Кавказ, – суровый царь земли —*
*Я снова посвящаю стих небрежный.*
*Твой жар и бурь твоих порыв мятежный*
*От ранних лет кипит в моей крови…*

***М. Ю. Лермонтов***

© Дьякова В. Б., 2016
© ООО «Издательство «Вече», 2016
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2017
Сайт издательства www.veche.ru

# Пролог

Стояло лето 1829 года. Собираясь за дровами, денщик князя Потемкина Афонька поднялся поутру до солнца. Вывел из сарая лошадь, покормил на улице. После взял пилу, топор, веревку. Направился уж к воротам. Тут его с крыльца окликнул молодой барин:

– Куда собрался-то? В лес?

Князь Александр легко спустился по ступеням и, расправляя широкие плечи, так что белая рубашка из лионского шелка, украшенная кружевом по воротнику и рукавам, ходуном ходила на бугристых мышцах, подошел к денщику. Прищурив зеленые глаза, осмотрел Афонькино снаряжение.

– Молодец, обложился добро, – похвалил и сразу предложил: – Знаешь что? Я, пожалуй, с тобой отправлюсь.

– Куда ж, Ляксан Ляксаныч? – возразил Афонька. – Как можно? Опять же матушка ваша хватятся вскорости, осерчают, что до завтраку не дождались.

– Так я ж не на гулянку, я на дело серьезное, хозяйственное напрашиваюсь – лес рубить, – ответил Александр беспечно, усаживаясь на телегу. – Иль не веришь, что из меня тебе помощник выйдет полезный? – спросил у Афоньки с поддевкой.

– Как не верить? – проговорил тот, покачивая головой. – Знамо дело, силушки не занимать вашей светлости. Я уж

только о покойности вашей пекусь…

– А ты не пекись особо, я уж как-нибудь сам с ней совладаю, с покойностью, – беззлобно прервал его Александр, – чтоб ее поменьше у меня оставалось. Трогай, да поехали, а то жарко станет, – и склонив голову, принялся раскуривать трубку.

– Как скажете-с, – видя, что князь не разделяет его сомнений, Афонька пожал плечами, дернул лошадей. Они пошли шагом.

Едва открыв глаза, Мари-Клер услышала голос Саши под окном и, спрыгнув с кровати, босиком подбежала к окну, чуть-чуть приподняла газовую, с жемчужной вышивкой по краям, занавесу.

В волнении она сжимала края бледно-зеленого с волнистой гипюровой каймой пеньюара – Афонька как раз правил лошадей со двора, и она хорошо рассмотрела Сашу, сидящего на телеге, еще до того, как тот скрылся за пышным, разросшимся кустом сирени.

Опустив занавесу, Мари вернулась в постель. Улегшись поверх крытого темно-коричневым шелком одеяла, она прижалась щекой к одетой в камчатную, алую наволоку подушке и, поигрывая длинной золотистой гривкой ее (гривка – кайма или бахрома), все еще видела перед собой, как, нагнув сильную, загорелую шею, Саша покусывает черенок трубки, прищуривая при том яркие зеленоватые глаза под крутым черным разлетом бровей. Потом, перевернувшись, она при-

жала руки к ушам, словно желая заградить себя от его насмешливого голоса, все еще звучащего в ней.

Ей самой становилось немного страшно от того, с каким вниманием она подмечала каждую мелочь в облике молодого князя и до какой степени – полного замирания всего ее существа – каждая такая мелочь ее восторгала. Она боялась собственного сердца, которое то принималось биться слишком часто, когда Саша появлялся поблизости, то вовсе замирало и тихо ныло в его отсутствие.

Солнце распалилось с самого утра. Поскребывая разомлевшее на жаре тело, Афонька поглядывал на луга, на лес, на реку и рукавом холщовой домотканой рубахи вытирал пот со лба.

– Эх, батюшка Ляксан Ляксаныч, почто сдалися нам дрова нонче? – сетовал он. – Вот бы головой в траву теперича – и заснуть! Духмяные ведь в округе травы!

– За чем же дело стало? – весело отозвался Александр. – Стреножим лошадку, пусть пасется себе. Уж не знаю, братец, с чего ты вдруг в дровяной угар кинулся? Запасы наверняка еще есть на поварне, на готовку хватит. Или ты уже на зиму запасаешь? Так до зимы-то – сколько еще, Афанасий!

– Запас-то он, конечно, имеется, – рассудительно отвечал Афонька, помахивая хворостиной на лошадку, – только ж ежели не пополнять его с заботою, так он иссякнет враз, и все, пой Лазаря-то. А матушке вашей, Ляксан Ляксаныч, то одно в голову придет, то другое. То спаленку подтопи, то в

гостиной свежо стало к вечеру. Хватишься – а дров нет. Не поедешь же в лес на ночь глядя.

– Ну, смотри, как знаешь, Афонька, – пожал плечами князь, – приглядел, что ли, дерево? – Он повернул голову: – Чего лошадку остановил?

– Ага, – радостно отозвался денщик, – ты погляди-ка, барин, вон на ту сухостоину, – он указал на огромную голую сосну, – одной бы хватило, чтобы небольшую избенку отстроить.

– Да уж выбрал ты, браток. – Саша присвистнул, осматривая дерево. – Пилить-то сколько тут, в два обхвата небось.

– Зато колоть будет хорошо, – не сдавался Афонька и засуетился вокруг телеги, вытягивая инструмент, – да и место открытое, не придется дровишки по лесу волочить.

Саша только усмехнулся – своего Афоньку он хорошо знал: если ж тот загорелся чем, не переупрямишь его и не проймешь ничем, станет свое гнуть, что боров. Никакой науки в сговорчивости Афонькина голова не принимала – не для того скроена, видать, была от рождения. А уж как вшибала ему мать его покойная, дюжая кухарка княжеская, кулаками премудрости житейские – так то по пустому все: непробиваемая Афонькина лень надежно защищала его.

Так что принялись пилить. На солнце и на ветру дерево высохло и закаменело. Пила отскакивала от гладкой, с железным отливом древесины.

– Вот уж мощи истинные, – вздохнул Афонька и остано-

вился, чтобы утереть пот с лица. – Не согласны разве вы, Ляксан Ляксаныч? – спрашивал он у князя.

– Не пойму, про какие еще мощи ты речь ведешь? – Саша недовольно вскинул бровь. – Во сне, что ль, увидал чего?

– Да в каком сне?! – возмутился Афонька, снова принимаясь за работу. – Я вот про ейные, про сосновые мощи говорю вам. Коли люди бывают нетленны, отчего ж деревам нетленными не быть? Вот мой кум Аввакум, знаете ж его, на одну ногу он хромает с ребячества, так вот сказывал на серьезе как-то: рыл он колодец, так ведь такое дерево вытащил из глубины, хоть в сруб клади. Потемнеть потемнело, а гнили и на ноготь не нашлось. Оно ведь, может статься, у людей свои святые, а у дерев свои…

– Врет все кум твой, – отмахнулся от него Саша, усаживаясь на передых в тенечке. Снова раскурил трубку, продолжал: – Он ведь, Аввакум твой, только тебе такие сказки сказывать мастеровит. А поди он батюшке здешнему заикнись об открытиях своих – отдубасит его поп за глупость и блудомыслие, как они выражаются, так что долго потом будет кум твой в синяках ходить. Вот он и помалкивает всем, чтоб до попа не донесли, а тебе одному только и заговаривает, знает, как ты слюни-то распускаешь, слушая его.

– А ты не рассиживай, не рассиживай, Ляксан Ляксаныч, – с обидой откликнулся Афонька, даже не взглянув на барина, – не нравятся тебе истории мои, таки и не слушай. А коли вызвался в подмогу ехать, так подмогай – не сиди как

гусь под забором.

– Да уж строг, строг ты, братец. – Александр с улыбкой поднялся и подошел к тысячелетнему дереву, оглядывая его. – Я ж не тебе не верю, а куму твоему – болтуну. Хотя в том, что сказываешь ты, своя правда есть. Деревья – они, как солдаты, свою службу несут. Вот, погляди, умерло оно на корню, но ни ветрам, ни половодью не сдалось. Даже мертвое стоит крепко – чем не суворовский чудо-богатырь…

– Это верно подметили, Ляксан Ляксаныч, – согласился Афонька, смягчаясь.

Снова принялись пилить дерево. Вся одежда уж промокла на обоих от пота. Наконец сосна-великан, оглушительно стрельнув, надломилась и пала монолитным стволом на сухую, звонкую землю. В ушах и пятках больно заныло от удара. Распиливать дерево на чурбаки не было сил. Уселись в тени березовой рощи – здесь было влажно и силы возвращались быстрее.

– Как бы ж ты один, без меня, справлялся? – спросил Александр, едва переводя дух.

– А я б такую сосну не брал, – признался ему неожиданно денщик. – Я уж давно ее присмотрел, да в одиночку силенки, сразу смекнул, не хватит. А теперича вам благодаря, Ляксан Ляксаныч, вота выполнил давнюю задумку свою.

– Ну, хитер, хитер ты, братец. – Саша только покачал головой. – А еще отговаривал меня ехать с тобой. А сам, оказывается, про себя тайную мысль имел. Уж, казалось бы, все

про тебя знаю я, Афонька, а всяк раз ты меня найдешь, чем удивить.

– А все про человека только Господь Бог знает, – просто отвечал ему денщик, покусывая травинку, – куды ж иному человеку освоить такое дело. Хотя бы и ученому, и благородному собой.

Остыв немного, снова взялись за работу: комель распилили до половины и бросили. Пилу зажимало.

– Ох, порвешь живот, Афонька, – насмехался над денщиком Александр, – не тяни так.

– А ты цыц, ваша светлость, – не отставал тот, – ты на поле боевом командуй, а уж по хозяйству мы и сами горазды. Учитель выискался на погибель души моей. Держи крепче!

– Может, с вершины попробуем? – предложил Александр.

– Вот уж нет, – замотал головой Афонька, – сперва всегда дюже тяжко, а потом легче уж будет.

Однако комель не поддавался. Афонька, оглядев его, стал загонять клинья.

– Такую дулю колоть-то – пузо надорвешь, – приговаривал он.

– Ты покуда поразмысль над ним, а я пойду искупаюсь, – решил Александр, – мочи уж нет, такое ты, друг сердечный, дело затеял.

– Ступай, ступай, Ляксан Ляксаныч, – согласился денщик, – я покуда заготовлю все, а потом уж вдвоем и нажмем.

На берегу реки трава стояла добрая, какой-то нераци-

вый пастух бросил здесь свое стадо – коровы разбредались, жуя траву и мыча. Вдруг одна, шалая, как пустилась бежать, хвост подняв трубой. За ней бык увязался. У воды на самом солнцепеке случилась у них коровья любовь. Поглядев на то с улыбкой, Саша сам спустился к реке, но подалее, чтоб коровьей любви не мешать. Скинул прилипшую к телу одежду. Оставшись нагим, окунулся в воду, ощущая ее благодетельную прохладу.

Только вышел из воды, растянулся на траве в чем матушка его родила, чтобы обсохнуть, за спиной его кто-то охнул. Саша приподнялся, оглянулся – совершенно нагая девица за ветку дерева двумя руками вцепилась и словно бы вот-вот рухнет замертво.

– Князюшка, солнце мое, ну подойди ж ко мне, – простонала она, падая в одуванчики.

Сперва растерялся князь, опешил – а потом, привлеченный пышным естеством ее, опустился рядом, глядя, как летит пух с цветков от движения их тел.

– Кто ж такова, откуда? – спросил, дыша натужно. – Что-то не припомню я тебя, из дворовых?

– Нет уж, нет, не угадал, – прошептала она, прильнув к нему грудями, – после уж расскажу. Сколько поджидала тебя, сколько выглядывала, чтобы покатался ты на мне, да вот подсобило нынче, углядела наконец. Так чего ж теперь время тратить, разговоры говорить…

Белое, нежное тело бабы вздрагивало, покрывшись мел-

кими мурашками от возбуждения, – она дрожала, вся подалась вперед, желая раствориться в его естестве. Саша страстно сжал ее крупные, похожие на только что испеченные булки груди, и казалось, что они вот-вот лопнут под его сильными пальцами. Ее же пальцы с коротко остриженными ногтями впились в его плечи.

Приподнявшись и глядя на нее почти черными от полыхавшей в нем страсти глазами, он придавил бабу к траве. Она раскинула ноги, да так и осталась, тяжело дыша и не сводя глаз с его покрытого темными волосами живота, из которых точно жерло пушки торчала громадина полового члена. Его руки снова опустились на ее вздыбившиеся горами груди, сжали их.

Закрыв глаза и мотая головой, баба застонала от боли и страсти, тело ее извивалось – она с нетерпением ждала, когда же он овладеет ею. Когда же головка члена коснулась ее, она всхлипнула, ее затрясло в оргазме. А он вбивал и вбивал в нее с невероятной силой раскаленный прут, который, казалось, пронзал насквозь…

Задыхаясь, почти совсем обессилев, она стонала и всхлипывала под ним, вцепившись в его плечи. Мгновение спустя он рухнул на нее телом, и, ощущая поток спермы, устремившийся в нее, баба тихонько, тоненько завыла, почти запела, поднимаясь на вершину блаженства.

Он все еще лежал на ней, ослабев и позабыв о поджидающем его денщике, о спиленном дереве и о времени, сколько

его прошло с тех пор, как он оставил Афоньку в березовой роще.

– Ах ты, гладенький такой, – умывалась благодарными слезами баба. – Дай-ка погляжу на тебя.

Он сполз с нее и улегся рядом на траве.

– Человеческие радости Богом даны, – приговаривала она дальше. – Врут все, что сатанинское то дело…

Она все елозила, елозила вокруг него – ни одной морщинки не было на лице бабы, ни одного пупырышка, снежный лик. Глаза большущие, серые, что-то горестное дрожало в них изнутри, билось, что звереныш в клетке.

– Ох, какой же ты красивый, князюшка, век бы любовалась. – Она сильно и больно прижалась губами к его губам, и они рухнули в горячий туман, а потом Саша словно уснул.

Когда же он открыл глаза, перед ним стояла… монахиня. Схватив измятую рубашку, Саша вскочил. Подумал, что снится ему.

– Чего ж испугался? – засмеялась она, оправляя волосы. – Невеста я Господня, Богородицкого монастыря, где подруга матери твоей, инокиня Ефросинья, которая прежде княгиней Орловой звалась, служит теперича. Как уж приезжал ты в монастырь с матушкой своей молиться, так я только взглянула на тебя – духом зашлась. Денно и нощно о тебе все думала, все представляла, как полюбишь ты меня. Уж боролась с тем грехом, молилась, постилась – а не помогло. Жгет проклятая любовь, гонит. Только ты один и успокоишь хворобу

мою. Вот все приглядывала, как бы свидеться нам наедине. А оно само и сладилось. Я сюда купаться хожу, вода – вот что успокаивает страсть мою, да и радость мне приносит. Сколько ж денечков ходила – все не видела тебя, лелеяла свою надежду, она ж меня не обманула. Гляжу, сегодня сам пришел, да и раздетый совсем стоишь… Где уж утерпеть? Себя не помнила…

– В Богородицком монастыре, говоришь? – усмехнулся Саша, натягивая одежду. – Погляжу, вольные там у вас нравы…

– Про что сказываешь ты, не пойму? – пожала она полными плечами, подсаживаясь рядком.

– А про то, что не девица ты, – продолжал он, – и весьма научена в любви. Что же все Христовы невесты таковы? Сам Господь Бог обучает тому? – Он взглянул на нее, и глаза его зазеленели смехом.

– Бог не Бог, а захаживают батюшки, – слегка смутилась она, – таки как откажешь, коль захочется им. Только я ж не всегда монахиней была, – продолжала она, приникнув головой к его груди. – Ты меня и не помнишь, чай, а я с нежных лет по тебе сохну. Это ж только ныне меня Лукерией кличут, а в миру я Зоей Изотовой звалась, Захара Константиновича Изотова, камер-фурьера и камердинера императрицы Екатерины Алексеевны, младшая дочь. Ты поди забыл давно, Сашенька, как одну ночку провел со мной на постоялом дворе, когда встретились мы по случаю, али по судьбе то вышло.

Ты из Таврической губернии в Петербург возвращался, а я в папенькино имение как раз ехала. Потеряла я девичество за тобой, ребенка понесла. Да только, как узнали про то мать да сестры мои старшие, вытравили его зельем. – Монахиня всхлипнула. – Я же имени им твоего не назвала, все на дворового свалила, которого отец до смерти запороть велел. А меня от позору подальше, вот сюда, в монастырь, и постриг. Благо княгиня Анна Алексеевна Орлова знакома была с батюшкой накоротке, вот уж и подсобила ему избавиться от меня без излишнего шума.

Ох, немало, немало я слез пролила здесь, Сашенька, – снова тоненько вывела она, что птичка проголосила. – Уже думала никогда не свидимся больше. Мочи не стало терпеть поповских ухваток. А как же Анна Алексеевна сама сюда инокиней пришла, узнала я от нее, что она уступила матушке твоей имение Кузьминки. Вот уж забилось мое сердечко радостно. Выходит, смилостивился надо мной Господь, за слезы мои и молитвы послал милость. Увижу, увижу еще тебя, соколик мой. А ты, Сашенька, скажи, помнишь ли, помнишь тот постоялый двор и девицу в платье бело-розовом? Ты еще смеялся, что слишком много оборок на нем, а я не обижалась на тебя нисколечко, все только любовалась, как ты собой красив…

Князь Потемкин слушал ее, потупив взор. Нет, не помнил он Зою Изотову. ничего вовсе о ней не помнил, как уехал из той корчмы, так сразу и забыл.

– Ты на меня посмотри, посмотри, голубок, – уговаривала она, – я ж на тебя зла не держу. Держала бы – выдала тебя папеньке, а так все с собой унесла, в своем сердце храню. Я ж к тебе сама тогда ночкой пришла. Ты спросонья и не понял, кто ж такова, то ли девка крестьянская, то ли благородная девица. А пред телом молодым кто ж устоит. На то и рассчитывала я, что не откажешь мне.

Я теперь на судьбу довольна. – Она с нежностью гладила его по волосам. – Коли рядом ты, так тебя видеть стану. Только скажи мне, придешь еще сюда? – спрашивала со слезами в голосе. – Придешь?

Не услышав ответа, вздернула одеяние монашеское, обнажив груди полные, влажные от пота, обняла голову Сашину, прижала к ним тесно.

– Говори, придешь? – просила тоненько, срываясь на плачь пичужкой.

– Приду, – пообещал он сдавленно.

Услышав же, она засмеялась, повалила его снова на траву, залюбила, залюбила, занежила по-новому…

Афонька один привез в усадьбу из леса огромный комель. Телега вздыбилась, задрав передние колеса, застонала, что живая, когда он с помощью других дворовых спихнул комель с нее на землю.

– Во, – сказал, победоносно оглядывая всех, – дрова. – И засмеялся.

– Ну, брат, ты горазд, – спустившись с крыльца, генерал

Анненков подошел взглянуть на «добычу». – Вот чудной, право, целый день он на один комель ухлопал.

– Глупость затеял, верно сказываете, ваше сиятельство, – отвечал довольно Афонька, – да и сам разумею, что глупость, но ведь одолел-таки!

– Да, упрям, упрям, – качал головой Алексей Александрович, но в голосе его чувствовалось одобрение: – Елизавета Григорьевна, посмотрите, что денщик молодого князя привез, – обратился он к супруге, сидевшей в кресле на террасе.

– Что там смотреть? – откликнулась Лиза, не отрывая взора от дамского журнала, который читала. – Бревно – оно и есть бревно. Больше с него не станется, как не смотри. А то, что упрям Афанасий, – так вы меня тем более не удивили. Не зря ж он с детских лет моему Саше не только слуга, но и приятель закадычный. Сто́ят они друг дружки. – Потом бросила все же скорый взгляд и недовольно продолжила: – А что это ты, Афонька, бревно свое посреди двора разложил. Привез, так ступай, пили дальше. Убирай, убирай все это побыстрее.

– Слушаю, матушка. – Афонька крикнул парней, они завозились вокруг комля.

– Ты мне вот что скажи, – немного помедлив, спросила у него Елизавета Григорьевна, – князь Александр Александрович ничего не говорил, куда он отбыл спозаранку? Не с тобой ли отправился.

Афонька замялся, не зная, что ответить. Из вопроса княгини он смекнул, что в усадьбу молодой князь пока что не

воротился. Сам же он, не дождавшись Сашу, отправился за ним на речку и, подсмотрев там всю любовь краем глаза, решил князя не трогать и уж тем более не поджидать впустую – когда там милование еще кончится, – а справляться самому да воротаться скорей в усадьбу. Что ж теперь отвечать матушке князя – Афонька соображал туго.

– На речку они пошли… – промямлил он вяло и, почесав ухо, снова усердно заворочал комель.

– Да уж на речку, – насмешливо высказалась Лиза. – Так я и поверила. Неужто купается битых четыре часа? Как бы не утоп по случаю. Наверняка какую-нибудь зазнобу себе опять у Майковых или в какой другой соседней усадьбе приглядел, там и пропадает…

– Ничего такого не знаем-с, – скованно отвечал Афонька, стараясь не поднимать глаз от бревна.

Но княгиня уже вовсе не интересовалась им. Повернувшись в комнаты, она позвала:

– Анна, ты послушай, что я прочла, как интересно! В разделе «Венерин туалет» советы даются, как предохраниться от линяния волос, например, и выравнивать морщины на лице, а также как сделать старое лицо наподобие двадцатилетнего…

– Что-что? – переспросила ее, выходя на террасу, княгиня Орлова. – Как сделать так, чтобы волосы не линяли? А тебе-то, Лиза, зачем такие советы?

– Ну как, – пожала плечами княгиня Потемкина, – чтобы

знать, вдруг пригодятся когда-нибудь.

– Вот уж не желала бы я дожить до таких лет, чтобы волосы у меня полиняли, – немного жестко усмехнулась Анна, – поседели-то ладно, а вот – полиняли…

Мари-Клер тихонько сидела на скамеечке под самой террасой и, слушая их разговор, думала о Саше. Взгляд ее невольно тянулся к аллее, ведущей к дому от самого въезда в усадьбу, а потом к калитке, через которую легко можно было попасть в лес и на широкий цветистый луг. Она все время ожидала, не появится ли Саша. Но Саша не появлялся, и Мари-Клер чувствовала одну только радость от того, что широкие поля ее белой шляпы, украшенной алыми розами и лентами, скрывают ее лицо, а потому никто не замечает его грустного выражения.

К вечеру из Москвы пожаловал в гости старинный товарищ по службе генерала Анненкова гусарский генерал и поэт Денис Давыдов. Солнце закатывалось, и небо, угасая, приобретало атласный лиловый оттенок, напоминающий праздничные одежды архиереев. Небо нежно звенело, на нем легко просматривались тонкие перпендикулярные линии, словно проросла посеянная Господом Богом трава для небесных маленьких и круглых облаков-поярков, скучившихся на горизонте.

На широкой террасе над Москвой-рекой лакеи в ливреях накрывали к чаю. Облокотившись на мраморное ограждение террасы, Денис Давыдов долго смотрел в поля, поку-

ривая трубку. Над полями вспыхивали зарницы, и при каждой вспышке их небо становилось красным, как простенький крестьянский кумач на рубаху.

– Зерно уж налилось, – проговорил Денис Васильевич задумчиво, – пора бы крестьянину точить серп да ток готовить.

– С каких это пор, брат Денис, ты о хлебопашестве столь много знаешь, – спросил у него, подходя, граф Анненков. – Сколь припомню я наши молодые годы, не входило то в гусарскую науку.

– Так ведь до того, как я в гусары попал, – отвечал, повернувшись к нему, Давыдов, – я к кавалергардскому полку приписан был. О гусарах и не мечтал, дорогих расходов требовало по тем временам в гусарах состоять, одна одежка сколько стоила, сам знаешь. Уже только то, что в гвардию попал, в Петербург, я почитал тогда за счастье. – Он вздохнул, помолчав. Потом продолжил: – Батюшка мой Василий Денисович, кавалерийский бригадир, при государе Павле Петровиче несправедливо в растрате был обвинен гатчинцами. И хоть слыл до того за богатого человека, многое пришлось ему продать из имений, чтобы недостачу покрыть. К тому же любил батюшка мой карточную игру, частенько выдавал долговые обязательства. А уж издавна повелось так, пришла беда – отворяй ворота, не приходит она одна. Только оплатили казенный долг, тут и карточные долги всплыли. Пришлось покрывать все зараз.

Батюшку со службы уволили, не по нраву он пришелся

императору Павлу. Вот и купил Василий Денисович тогда деревеньку Бородино без особой выгоды для себя, не предвидя, верно, что станет она знаменитою по России. Там и сам обучался хозяйствовать на старости лет, да и нас обучал. Не усматривал отец мой в павловское время военного пригождения для нас с братом, все уговаривал по цивильной службе пойти, в Коллегию иностранных дел. Брат мой Евдоким согласился, но я упорствовал. Мне повезло – государь Александр Павлович взошел на престол, и все переменилось. Только вот про хлеб да про иную растительность хорошо помню я с той поры, когда сеять да когда жать…

– Вот о чем бы не говорил ты, о чем бы не писал, Денис Васильевич, все у тебя поэтично выходит, красиво – заслушаешься, – с улыбкой заметила княгиня Лиз, выходя к ним из комнат. Она уже переоделась к вечеру. На ней – глубоко вырезанное васильковое платье из муслина, простроченное золотой нитью, легко опадает вокруг стройной фигуры, на поясе же сияет аквамариновая звезда, выложенная мелкими бесцветными сапфирами. Высокую, красивую грудь Лиз украшает такое же аквамариновое ожерелье. Она появляется со свойственной ей с юных лет нежной грацией, пленившей еще Наполеона Бонапарта в Тильзите. А уж французский император знал толк в грации, вкусе и очаровании, имея в женах неподражаемую Жозефину Богарне. Приняв протянутую руку жены, Алексей Анненков поцеловал ее и проводил Лизу к креслу. Присев и обмахнувшись веером, сделанным из мел-

кого темно-синего гипюра, княгиня снова обратилась к Давыдову: – Так какие нынче новости в Москве, Денис Васильевич…

– Новости… – несколько рассеянно переспросил тот, любуясь красотой Лиз. – Я уж позабыл о всех новостях, покуда доехал до вас, а уж теперь, Елизавета Григорьевна, на тебя глядючи – тем более. – Приблизившись, он тоже поцеловал руку Лизы и по приглашению ее сел в кресло напротив. – Но кое-что хотел рассказать вам веселого, – в темных глазах Давыдова мелькнуло озорство, – тебе, Алексей, особенно занимательно послушать.

– Про что же? – спросил тот, облокотившись на спинку кресла жены. – Или про кого?

– Вот именно, что про кого, – уточнил Давыдов, – про твоих бывших товарищей по ссылке. От Пушкина узнал… А он от княгини Зиночки Волконской самолично. Всем известно, в каком наш Александр Сергеевич восхищении нынче от Зиночкиных дамских достоинств, да и по полному праву признаю. Там, в Сибири-то, нынче казус вышел, – видя нетерпение слушателей, начал рассказывать гусарский поэт с загадочностью, – не столько с самими товарищами твоими, Алексей, сколько с женами их, которые к ним направились и живут на поселении ныне.

– Что ж за казус? – поинтересовалась княгиня Лиз, и откинув голову, прислонилась ею к руке Алексея. – Говори, не томи уж.

– А казус в том состоял, – продолжал Давыдов, едва сдерживая улыбку, – что решили дамы те мужьям своим подарок сотворить к празднику. Закатали в бочку из-под вина крестьянскую девицу, ну и послали ее к каторжным под видом того самого вина для справления мужьями естественных нужд любовного свойства, заплатив девице заранее конечно же. Вдруг уж она больше света белого никогда не увидит после их любви или гнева жандармского начальства, не дай бог пронюхает оно чего…

– Про что такое я слышу? – спросила Анна Орлова, присоединяясь к ним. – Здравствуй, свет мой ненаглядный. – Она наклонилась и поцеловала Давыдова в лоб. – Про что ж такое повествуешь? Сам сочинил басню, или в самом деле такое случилось? К какому же празднику все произошло? Неужто к церковному, Господи прости. – Она перекрестилась и поцеловала образок Богородицы, висящий у нее на груди в финифти.

– Басни, любезная моя Анна Алексеевна, я не сочиняю с той поры, – отвечал ей Давыдов, – как государь Александр Павлович, в бытность мою кавалергардом, изволил прочитать одну из них и сослал меня из гвардии в армейский гусарский полк в Гродно на воспитание, чтоб не порочил острыми словечками репутацию уважаемых государственных особ. Так вот с тех пор я значительно мудрее сделался и басен не пишу, только элегии любовного и героического свойства. О князе Петре Ивановиче Багратионе, например. Или

вот о княгине Елизавете Григорьевне… А все то, что я только что поведал, – то истинная правда, матушка моя. Праздник, верно, церковный был. Только каков, не помню. Святой Гликерии, кажется. Праздник влюбленных, как водится.

– Девку в бочку закатали и мужьям послали? – переспросила Лиза, часто обмахиваясь веером, видно было, что рассказ Давыдова произвел на нее впечатление. – Каковы ж, а?! – оглянулась она на Анну. – Вот уж хорошо, что все это без меня там произошло. И наверняка не впервые они такое удумали. Признавайся, – она подняла голову к мужу, – пока ты там оставался, к тебе тоже девку присылали в бочке?

– Что ты, Лизонька, – Алексей с нежностью опустил ей руки на плечи, – кто ж мне там чего пришлет, если тебя нет. К тому же я предполагаю, что такова услуга только для тех, кто изначально выступал за насильственное свержение государя с престола, как понесших наибольший моральный ущерб от того, что государь на престоле все-таки остался да поныне здравствует. А я никогда не поддерживал столь радикальных взглядов на государственное благоустройство России. Как же я стану супротив императорской семьи выступать, когда ты у меня сама к ней принадлежишь. Да и от императора Александра Павловича я ничего, кроме должного, благоприятного отношения к гвардии и ее офицерам, несмотря на все нюансы, не видел.

– Но если бы ты там был и сейчас, а я тебе преподнесла такой «подарок» с позволения сказать, – продолжала допы-

тываться Лиз, – ты бы им воспользовался? – Она сжала руку мужа и пристально смотрела в глаза.

– Во-первых, ты бы никогда не преподнесла мне такой «подарок», я тебя, Елизавета Григорьевна, не первый год знаю, – ответил ей Алексей мягко, – ты бы от ревности с ума сошла. Если мне не изменяет память, тебя от нее еще матушка Екатерина Алексеевна отучала, когда хлестала по щекам за то, что из ревности к великому князю Александру Павловичу ты в пятнадцать лет затащила к себе в постель преображенского солдата, сняв его по собственному капризу с караула. Такое было?

– Было. И что ж? – Лиза дернула плечом. – Государыня верно со мной поступила, научила по-матерински на всю оставшуюся жизнь, как надо себя вести. Я на нее не в обиде. Только с благодарностью вспоминаю. Однако, Алексей Александрович, ты мне так и не ответил, – настаивала она, – как бы ты поступил? Принял или нет мой дар?

– От тебя бы не принял, – ответил он все также с мягкой усмешкой. – Вы, Елизавета Григорьевна, мне одну княжну Гагарину двадцать пять лет вспоминаете, потом маркизу Анжелику еще пятнадцать, только крестьянской девицы мне и не достает на все оставшиеся годы до самой смерти. Нет уж, я бы поступил по-другому, – он рассмеялся, – чтобы избежать всех напоминаний с вашей стороны да тем более и для большего собственного удовольствия, даже счастья своего, я бы дождался своих верных дружков, вот Дениса Васильевича, к

примеру, и попросил его запечатать в бочку вас, Елизавета Григорьевна, и переслать мне, а после – забрать обратно. Я думаю, Денис Васильевич с такой задачей бы справился. Не зря же он вел почти год партизанские действия в тылу французов и весьма преуспел в них. Скольких маршалов наполеоновских вокруг пальца обвел, неужто он бы с жандармским полковником не совладал? А, Денис?

– Совладал бы, – отвечал тот, улыбаясь, – еще бы мне в помощники Лешку Бурцева воскресить. Тогда и вовсе – трава не расти…

– В крайнем случае Денис Васильевич вполне мог бы полагаться на меня за отсутствием Бурцева.

Взбежав по мраморным ступеням со двора, на террасе появился князь Александр, причесанный и надушенный верным своим Афонькой как на бал. Мари-Клер, стоявшая у входа с террасы в комнаты, почувствовала, как у нее вздрогнуло сердце при его появлении. Она не обращала внимания на все, что говорилось на террасе прежде. Она ждала только его – и вот он пришел. В свежей белой рубашке с атласным жабо и охотничьем бешмете из черного бархата, который контрастировал с ярким взглядом его зеленых глаз.

Лакеи в шитых серебром ливреях с васильковым аксельбантом на плече расстелили на столе белоснежную скатерть, украшенную тонким кружевом по кайме, и расставляли чайные приборы – в голубом фарфоре с многоцветными переливами.

С появлением Саши, Мари-Клер покинула свое укрытие и, пройдя на террасу, уселась у самого края ее, выходящего на журчащий внизу фонтан. Вскинув на нее взгляд, Саша быстро оценил ее нежно-розовый туалет, вышитый мелким темным жемчугом, который дополнял прозрачный газовый шарф яркого цикломенового цвета, столь любимого молодой француженкой. От его взгляда, выражавшего явное любопытство, Мари-Клер смутилась так, что вынуждена была отвернуться и перенести взор свой в сад, чтобы никто не заметил румянца, вспыхнувшего у нее на лице. Она прижимала шарф к груди, сама не замечая, как стискивает его пальцами, а потом снова отпускает, боясь повернуться.

– Мы еще не виделись сегодня, мадемуазель. – Саша подошел к ней, обдав мужественным ароматом гвоздики, к которому примешивался запах крепко заваренного кофе. – Позвольте пожелать вам доброго вечера, мадемуазель.

Он галантно склонил голову, и она, обратившись к нему вполовину, протянула руку, напрягая ее, дабы не выдать дрожь. Саша поцеловал ее руку – она вздрогнула, когда его губы коснулись тонкой гипюровой перчатки, скрывавшей ее. Потом, еще раз окинув взглядом всю фигуру молодой особы, князь Потемкин отошел к матери.

Вслед за Сашей Мари-Клер выразил приветствие и восхищение Денис Давыдов – с ним она ощущала себя раскованно и с улыбкой принимала восторженные комплименты в свой адрес.

– Цветок, истинный цветок заморский, – приговаривал Давыдов, блестя темными глазами, и то и дело поправлял черные с проседью волосы, спадающие ему на лоб.

– Ты нам все ж не полностью досказал, Денис Васильевич, – призвала к себе партизанского генерала княгиня Елизавета Григорьевна. – Кто же там удумал затею с бочкой-то? Неужто скромница Маша Раевская? Я не поверю, будто отец ее, Николай Николаевич, привил ей с детства столь просвещенные взгляды. На моей памяти, на свой брак она куда более в русской традиции смотрела – со слезами да молитвами, а под венец и вовсе за косы ее вели. Нет, наверняка, не ей принадлежала главная роль в устроении спектакля. Маша, она скорее пожертвует своим чувством по чужому указу, сама ж вряд ли додумается. А вот урожденная госпожа Лаваль, – Лиза обмахнулась веером, слегка сузив зеленые глаза, и это мимическое движение ее Мари-Клер сразу же узнала: оно полностью передалось по наследству Саше, – та госпожа Лаваль, которая княгиней Трубецкой стала, – продолжала Лиза с легкой улыбкой, – у нее все по-революционному. Она, конечно, вполне способна и не такое удумать…

– Ты разве не находишь, что они поступили благородно? – спросила у нее Анна Орлова. – По-моему, передавая Денису Васильевичу этот рассказ, княгиня Зинаида как раз и намеревалась подчеркнуть благородство и жертвенность их поступка. Они показали, что ставят любовь духовную намного выше телесной…

– Кто ж ее не ставит выше, когда она есть, – покачала головой Лиза. – Когда уж нет – то ни за что не сыщешь. Разве ты не ставила ее выше, эту духовную любовь, когда твой Михаил Андреевич к актрисам и цыганкам на гуляние с ночи до утра, бывало, ездил? Еще уж как ставила, вспомни хотя б Настеньку Рахманову из Русского театра, к которой весь Петербург в начале века на спектакли ходил, – места свободного в театре не находилось. Все уж там вертелись: и Бурцев, и Денис Васильевич наш, и без вас, Алексей Александрович, не обошлось, – она снова взглянула на мужа, – и Михаил Андреевич там бывал частенько.

– Ну, бывал, так и что? – Анна опустила голову и смотрела на маленький томик Евангелия, который держала в руках. – По моему монашеству, от которого Синод меня избавить отказ принял, несмотря на ходатайство государя Александра Павловича, Михаил Андреевич жениться мог уж не раз, и невест ему богатых, собой пригожих предлагали много, особенно после окончания французского похода, когда государь его отличил за храбрость и ему доверил генерал-губернаторство над Петербургом. Только он мне верен остался, и род их прервался на нем…

– Я ж не про то речь веду, мог ли жениться твой Мишель или нет, – почувствовав, что она задела болезненную струну в сердце подруги, Лиза поспешила исправить промах, – вашей верностью друг дружке только изумлялась я всегда с восхищением. Я же про любовь духовную и телесную гово-

рю, можно ли их разделить? И про благородство Кати Трубецкой, о котором ты меня упрекнула в непонимании.

– Я не упрекнула, – отвечала Анна, все также перебирая пальцами золоченый обрез Евангелия. – Я только лишь спросила, считаешь ли ты благородным деяние их?

– Возможно, считаю, – Лиза пожала плечами, выражая сомнение, – но прикидывая на себя, наверняка знаю, что сама так бы не смогла поступить. По сравнению с их просвещенностью, я – дикарка. А ты бы смогла? – Она прямо взглянула на Анну.

– Я тоже нет. – Анна подняла голову и в ее темно-голубых глазах, опутанных едва заметной сеткой мелких морщинок, стояли слезы. – Мы с тобой все же из другого времени, Лиза, из екатерининского царствования. Не забывай об этом. А время – оно меняется и никого не ждет…

Степенный метрдотель, распоряжающийся столом, приказал ставить угощения: горячие пироги с ягодной начинкой трех видов открытые и закрытые, взвар из арбузов и дынь, протопленный с изюмом, французский зефир крем-брюле в шоколаде. Вслед за тем принесли и водрузили на стол пузатый, крытый серебром самовар, пышащий жаром. Зажгли свечи в трех золоченых канделябрах – под ними скатерть вспыхнула ослепительной белизной, а сервиз излучал радужное сияние, как будто выложенный опалом. Склонив голову, метрдотель доложил хозяйке, что все приготовления кончены, и княгиня Лиз, поднявшись из кресла, пригласила всех

к столу.

Она сама села за самовар и, сняв перчатки, приготовилась разливать чай. Передвигая стулья и кресла с помощью расторопных и незаметных лакеев, небольшое общество разделилось на две части – у самовара с княгиней Лиз и на противоположном конце террасы, где оно состояло из двух старинных друзей – генералов Давыдова и Анненкова, переговаривающихся вполголоса. Разговор, как часто бывает за столом, в первые минуты колебался, перебиваемый предложениями чая, как бы отыскивая на чем остановиться, пока снова не обернулся к театру и происшествию в Сибири.

– Рахманова была и в самом деле необыкновенно хороша как актриса, – слышался сочный голос Давыдова, – она всегда так драматично падала в завершении спектакля…

– И почти всегда на руки кому-нибудь из обожателей, – закончила за него Лиза, наливая чай для княгини Анны, – это получалось у нее не только драматично, но и вполне волнующе для мужской части зала – юбки веером летели едва ль не до потолка…

– Не только для мужской, но и для женской, – ответил граф Анненков, подходя к ней: – Все дамы в этот момент сгорали от зависти – они же не могла себе позволить подобного, а значит, лишались мужских восторгов. Налей мне чаю, Лиза, – попросил он.

– Вы с Бурцевым и Давыдовым всегда сидели в первом ряду, – с улыбкой вспоминала княгиня, протягивая ему полную

ароматную чашку. – Вам, надо полагать, там с юбками особо хороший вид открывался. А в последнем антракте Бурцев умудрялся раздобыть где-то столь огромный букет, что его за ним и самого углядеть было сложно. С ним он потом залезал на сцену, безжалостно круша своим немалым в размерах естеством декорации…

– Зато ты восседала в императорской ложе, – парировал Анненков, – и делала вид, что все, что происходит внизу, тебя вовсе не касается. Да и Рахманова играет – так себе…

– О, нет, нет, нет! – горячо запротестовал Давыдов. – Рахманова играла великолепно. Вспомните хотя бы «Дмитрия Донского» в постановке Озерова. Там Ксению играли мадемуазель Жорж и Рахманова по очереди. По правде, на француженку тошно было смотреть – так пресна и далека она была от понимания глубин русской души. Настасья же… – Он не закончил фразу и только глубоко вздохнул.

– Возьми-ка чаю, Денис Васильевич, и не грусти, – предложила ему Анна Алексеевна, – теперь, я слышала, играют не хуже, хотя давно уж в театре не была.

– Играют хорошо, да не так, – откликнулся тот. – Запал не тот, не тот кураж…

– Партер не тот, – вмешался в разговор князь Саша, – кто ж нынче сидит в партере, господа? Все Корфы, да Шварцы, да Клюгенау, да Шюцбурги – гвардия онемечилась. А при государе Александре Павловиче русских фамилий встречалось гораздо больше, весь партер военный русским был – так от

того и страсть, и удаль присутствовали там. А нынче поаплодируют, поулыбаются – и разъехались по домам, к женкам и детишкам. Вроде все и мило, по-семейному, но – скукота! А вы спорите, почему девица Жорж играла Ксению хуже нашей Рахмановой. Это все равно что обсуждать, по-моему, почему при занятии французами Москву русские сожгли дотла, а вот австрияки свою Вену – вовсе нет, даже в голову им такого не пришло. Потому и госпожа Лаваль разделяет телесное от духовного, чего у нас на Руси никогда не примут: все у нас по крику сердечному, все от страсти, а не от холодного ума!

– Признайтесь мне, Александр, – спросила у него княгиня Лиз, придержав сына у самовара, – вы по страсти пропадаете целыми днями, так что я и догадки не имею, где вы пребываете. Мадемуазель Мари только три недели как приехала к нам, вы же отпуск взяли по тому поводу в полку, а обществу домашнему и двух дней полных, коли посчитать, не уделили… Что ж за страсти вас тревожат, позвольте мне узнать?

– Страсти, матушка, вполне различные, – отвечал Александр, покорно склонив голову, – но по сегодняшнему дню – хозяйственные. Мы с Афанасием поутру отправились дрова заготавливать, – продолжал он сдержанно, – так он деревце такое выбрал в работу, что оба умаялись. Пока я на речку ходил, чтобы освежиться, Афонька ж комель отпилил, да и домой отправился с усталости. А кто ж остальную работу доделывать станет?

Денис Давыдов при тех словах княжеских рассмеялся, но

тут же прижал кулак к губам, чтоб подавить смех…

– Ну-ну, и что же? – спросила Лиз, слегка сдвинув брови, хотя в глазах ее также светились веселые искорки, она вполне понимала сочинение сына. – Неужто вы, Александр, желаете меня убедить, что вы без денщика своего в одиночку за лесопиление принялись…

– Конечно, матушка, – отвечал тот, в общем-то скорее желая не солгать, а просто немного разыграть общество, – вершинка ох как хороша у той сосны! По Афонькиному примеру бил я клинья, пилил – зажимало крепко, – рассказывал он, удерживая улыбку. – Но уж доделал все. Надо завтра Афоньку поутру посылать, чтоб привез дровишки в усадьбу…

– Чем же пилили, Сашенька? – подала голос Анна Алексеевна, невинно осведомилась, отпив чаю. – Инструмент-то весь Афонька еще к полудню с собой привез.

Саша на мгновение задумался, глядя прямо в насмешливые княгинины глаза – он прекрасно отдавал себе отчет, что, надеясь на его остроумие, Анна Алексеевна подает ему возможность отнять у матушки последний довод, который Лиза ненароком может и припомнить, хотя вовсе и не наблюдала за Афонькой.

– Так чем же пилить – пилой и пилил, – ответил он, прикинув про себя возможные исходы. – Мужичонка мне в лесу попался, при нем и инструмент был… Вот вдвоем и доделывали, чего Афонька не доделал.

– Что ж вы мужика того не пригласили, не напоили ква-

сом, Александр? – спросила у него Лиза. – Как-то не похоже то на вас вовсе. Так и бросили его без вознаграждения в лесу?

– Так он сам убежал, матушка, – улыбнулся Саша и снова поймал на себе иронический взгляд Анны Алексеевны. – Афонька, сказывал я вам, сосну выбрал в три обхвата. Так мужик уж там потел, отирал лицо рукавом, а потом по нужде в лес побежал – больше и не вернулся. Весь инструмент кинул. Верно, после заберет его.

– Ох, уж складно все у вас, Александр Александрович, – покачала головой Елизавета Григорьевна, наливая сыну чай из самовара. – Я все удивляюсь, почему бы вам вслед за Денисом Васильевичем в сочинительство не податься. Вы бы быстро прославились в прозе, уж про стихи не скажу – не знаю. От кого это у вас, Сашенька? – Она пожала плечами. – От бабушки Екатерины Алексеевны, что ли? Она все романы да пьесы сочинительствовала. Как поднимется, бывало, в шестом часу утра с Петропавловским выстрелом, кофею отопьет и выписывает сцены, после ж Сумарокову с Державиным их зачитывает. И не Орлов, не Потемкин ей не помешали – все она успевала, матушка моя. Вот я думаю, наверное, от нее вам передалось. Папенька-то ваш, государь Александр Павлович, тоже пописывал в юности, случалось с ним. Но у него все лебеди плавали над волнами. Романтичный юноша был, мой возлюбленный государь. – Лиза глубоко и грустно вздохнула. – Уж если море – то бескрайнее, уж если горы –

то до самых небес, а если любовь – то навеки. Правда, по справедливости, – она тут же добавила, – то все это занимало его, покуда он на престол не взошел. А там уж иные интересы поспели: реформы, Сперанский, отменять крепостное право или лучше оставить. А потом и вовсе – войны одна за одной. Уж не до романтики стало. Не до морей и гор…

– Только любовь до гроба и осталась, – заключила за нее Анна, – в том уж государь романтиком оставался до самого смертного дня.

Лиза же промолчала и, тайком смахнув слезу с ресниц, отвернула лицо.

Смеркалось – на поля ложилась обильная вечерняя роса, следы от телег, оставленные на лугу за задней калиткой, казались под лиловеющим небом изумрудными. Ветер от Москвы-реки приносил запах мокрого, чистого песка.

Глядя с террасы усадьбы на спокойную водную гладь впереди, Мари-Клер казалось, что над рекой открывается звездная бездна – столько золотистых гвоздиков виднелось над ней и столько же отражалось в воде. Река раскачивала берега, чтобы перехитрить звезды, забаюкать, сорвать их с места, унести с собой, но ничего, как уж от века повелось, не получалось у нее – звезды стояли на месте.

– Как красиво! Как красиво, – невольно вырвалось у Мари-Клер. Хотелось выбежать на берег, кинуться в пахучую траву и, глядя вверх неотрывно, ждать чуда, – знака Господня, – падучей звезды. Вдруг повезет, вдруг сорвется она –

тогда загадать самое сокровенное желание, которое произнести вслух Мари бы и не осмелилась никогда, даже и про себя произносить было страшно. Но покуда чуда не совершалось – звезды твердо стояли на своих местах, ни одна не шелохнулась.

– Маша, милочка, почему вы не пьете чай? – спросила у нее по-русски княгиня Орлова. Вот уже полмесяца Мари-Клер усердно изучала русский язык, и Анна Алексеевна старалась в общении вовсе исключить французский, чтобы девушка привыкала быстрее. – Сашенька, окажите любезность, – попросила она сразу за тем Потемкина, – отнесите Маше чаю.

– С удовольствием, дорогая Анна Алексеевна, – быстрым, твердым и легким шагом князь приблизился к Мари, держа на небольшом серебряном подносе голубую, сверкающую многоцветными переливами чашку, которую только что наполнила княгиня Орлова.

– Позвольте предложить, мадемуазель, – проговорил он мягко, и она совсем близко увидела бездонную глубину его зеленых глаз, которых теперь, она была уверена, она не повстречает ни у одного иного мужчины в мире. Ей казалось, что никого в мире красивее Саши нет, просто не может быть, и от близости его перед ней у нее слегка закружилась голова. – Я не знал, что предложить вам из сладости, – продолжал он, – но все же решился рекомендовать зефир. Он легок, все дамы в Петербурге предпочитают его, и я знаю, весьма

остаются довольны.

Только сейчас Мари-Клер заметила, что рядом с чашкой на небольшом серебряном блюдце лежат несколько зефирок. Поставив поднос на небольшой буфетный столик поблизости, Саша с галантным поклоном придвинул Мари-Клер кресло. Она же, позабыв про чай, отвечала только легким наклоном головы, опять вспыхнула и, рассердившись на себя, нахмурилась.

– Позвольте вас спросить, мадемуазель. – Саша сел на стул подле нее, все также обдавая взволнованную девушку ароматом крепкого кофе, исходящего от него. – Вы все время молчали, а что ж в отличие от нашей русской дикости нынче думают в Париже? Разделяют ли там духовное от телесного? Живут по страсти или по уму? Может быть, я вовсе был не прав, приписывая французам, к примеру, излишнюю рассудительность?

Услышав его вопрос, Мари-Клер еще пуще растерялась, так что едва чашку не выронила из рук.

– Откуда же мне знать, князь, что думают нынче в Париже, – пролепетала она, – когда я сроду там не бывала, я только и видела, что Марсель, да и то проездом…

– В Париже и в Италии, милый Александр, рассудительности побольше, чем даже у немцев, верно тебе говорю, – поспешил ей на помощь гусар Давыдов. – Немцы сентиментальнее. Вспомни хотя бы прусскую королеву Луизу, которая из сердечной расположенности к нашему государю Алексан-

дру Павловичу вынудила своего супруга-короля вступить в войну против Наполеона. А насчет итальянцев вот тебе пример – сколько лет уж помню, так меня потрясло.

В наши молодые годы по всей Европе славилась примадонна Ла Скалы Грассини. Пела восхитительно, голос – дивный, такие октавы брала – дух захватывало. И собой прекрасна – волосы черные, пышные, глаза огромные, как два озера горных под солнцем пылают. По слухам, что доходили до нас, сразила она только пением своим всю наполеоновскую гвардию зараз, а генералов его и вовсе с ума свела, как они Милан заняли и в Ла Скала пожаловали на представление.

Сам Бонапарт к примадонне той дышал неровно, да только генеральша его, Жозефина, вовремя, почуяв неладное в письмах, пожаловала из Парижа мужа опекать – тем и спаслась. Так вот, – продолжал Давыдов, покусывая зефирку, – за большие деньги уговорил наш граф Александр Сергеевич Строганов Грассини в Петербурге спеть – только один вечер, на большее она не согласилась не за какие посулы. Сырость, слякоть, холодный ветер, опять же государь Александр Павлович супротив ее любимых французов с англичанами интриги плетет – все для нее важно было тогда. Но граф Строганов, он тогда Академией художеств председательствовал, над строительством Казанского собора смотрительство имел – он уж умел с капризными примадоннами управляться. Дал денег сверх контракта капельмейстеру ее – так тот госпожу

Грассини живо и на второй вечер уговорил.

Что сказать, то всего лишь 1803 год был. – У седовласого генерала вырвался невольный вздох. – Вот отец Анны Алексеевны, князь Алексей Григорьевич Орлов, жив был тогда – старинный друг графа Александра Сергеевича, сидел с ним в ложе. Мы же всей гусарской компанией, как верно Елизавета Григорьевна подметила, первый ряд в партере занимали. Бурцев тогда явился в костюме вовсе не военном – под персидского султана, поди, даже с пером на чалме, самого хоть на сцену выводи. А для чего? – Давыдов усмехнулся. – Для того чтобы среди прочих Грассини сразу его заметила. Как раз с букетом он выскочил к ней на сцену в последнем акте. Она сперва испугалась вида его, потом уж – всем известно, каков был в обхождении наш ловелас, – все ж обаял он ее. Она его в Строгановский дом на ужин в свою честь пригласила. Только Бурцев – верный был гвардеец. Он сразу ей: «Синьора, я без своих товарищей – никуда». Она же всей толпой нас вести побоялась – все же государь император банкет удосужился вниманием почтить. Вдруг не понравится ему наше присутствие? Тогда сговорился с ней Бурцев, будто после ужина званого она ему весточку пришлет, чтоб вместе остаток ночи провести. Так и ждали мы до самого утра той весточки от синьоры певицы. Не дождались…

– Это ж почему? – поинтересовался Саша. – Забыла про вас Грассини.

– Не забыла, – покачал головой Давыдов. – Другого пред-

почла Лешке. И знаешь кого? Со смеху помрешь!

– Кого ж?

– А Александра Львовича Нарышкина, директора императорского театра, Марии Антоновны Нарышкиной близкого родственника. Ты ж его и помнишь, наверняка, Саша. Коротконогий, пузатенький, на лицо – что обезьянка, но всегда весел собой и всегда в долгах. Он уж так вертелся перед итальянкой, что она и вправду подумала, будто он влияние имеет, надеялась на больший гонорар за выступление. А не поняла она, как по-русски все устраивается обыкновенно: Александр Львович всем командует, только денег у него – в карманах дырки мыши прогрызли. А платит за все меценат – граф Строганов. Вот и просчиталась расчетливая дива. Уехала с оговоренной прежде суммой в обиде на Александра Львовича. А мы меж собой решили – и поделом ей. Нашла на кого нашего красавца-Лешку променять. Он бы хоть любил ее с ее же итальянской страстью, а вот Александр Львович, я очень сомневаюсь, пардон. – Давыдов многозначительно хохотнул в завершение рассказа.

– Но все же, вы так и не ответили мне, мадемуазель, – повернувшись к Мари-Клер добивался от нее Саша, – вы поступок тех женщин в Сибири одобряете или нет?

– Что ты, Сашенька, ее все мучаешь, – вступилась за Мари на этот раз княгиня Орлова. – Откуда ж ей знать покуда нашу жизнь, только ведь начинает она жить ею. Нам не все понятно делается порой. То, что Маша Раевская отправилась в

Сибирь, – то она конечно же восхищения всеобщего заслуживает, но только с одной стороны. С иной же, если о другом подумать, – до смерти разбила она сердце отца своего генерала Николая Николаевича Раевского, на братьев опалу государеву нагнала. Того уж тоже никак не вычеркнешь. Вот и жертва ее одним – благо, другим – тягость. Так и все. А ведь не по любви, как раз по расчету замуж выходила, по отцовской указке, и плакала горючими слезами. А теперь полюбила мужа своего…

– То все не от любви, все от русской нашей бабьей жалости, – вмешалась княгиня Лиз. – Не верю я, что останься князь Сергей генерал-адъютантом императора, как он был при ее замужестве, то она уж так к нему воспылала чувствами даже после рождения сына. Нет, тут уж сколько не воспитывай во французском стиле, а натура малоросская, она как есть, так свое и берет. Что в России в деревнях, какая любовь? Муж бьет – значит любит. Баба жалеет мужика – тоже любит по-своему. Так и стоит все веками неизменно.

– А я… я ж думаю так, – произнесла вдруг Мари-Клер, сдернув перчатку с руки и в волнении покачивая ею в воздухе, – что сколько голов, то столько и умов, а сколько сердец на свете, то столько и родов любви, мне так сестра Лолит говорила. И я вполне согласна с тем. Ведь если ж сочли эти дамы, что так лучше станет их мужьям, то им виднее там, чем нам здесь. Я так полагаю… – Ей показалось, что она говорит слишком долго, и даже вовсе неразумно, напрасно

привлекая внимание к себе. Потому прервала себя, не договорив, и, повернувшись неловко, задела локотком чашку с недопитым чаем на буфетном столике. С ужасом взирала она, как сверкающая опаловыми переливами чашка закачалась, расплескалось то, что содержалось в ней, она накренилась… Мари-Клер уже представила себе, как вся красота эта разлетится по ее вине на куски, но не находила в себе сил даже, чтобы пошевелиться, удержать ее, так ее сковало отчаяние. Князь Саша, протянув руку, поправил чашку. И Мари-Клер вздохнула как бы после опасности, которая наконец миновала…

– Вы очень верно заметили, однако, мадемуазель, – в его ровном голосе Мари услышала столь необходимую ей поддержку, – прежде чем сказать, верно ли лев задрал ягненка, не достаточно лишь облачиться в шкуру льва, не дурно также и побыть ягненком. Хотя равновесия в ощущениях обоих тварей достигнуть не удастся в любом случае.

В конце чаепития беседу за столом прервал крик с поварни. Кричал ребенок. Призвав Афоньку, княгиня Лиз спросила у него, что случилось. Оказалось, судомойкиной дочке таракан в ухо заполз, вот теперича достают его.

– Я ж им говорил, чего ковырять в ухе без толку, – сокрушался Афонька, – известен уж способ давно: три золотника соли разведи в двух ложках воды, да и заливай, сдохнет таракан сам. Потом и вытащишь.

– Так поди ж и разведи, – сердито нахмурилась Лиза, –

чего крик-то подняли? И не забудь завтра поутру за дровами отправиться в лес, которые князь Александр Александрович за тебя распилил, – приказала она, умело скрыв иронию – как будто и всерьез.

Афонька ж, услышав ее, едва собственной слюной не подавился. Поглядел на Сашу широкими глазами. Тот взора не отвел. И видно, смекнув про себя, что к чему выходит из всего, Афонька выдавил хрипловато:

– Коли ж надо, то и съездим, матушка, за вершинкой-то, – догадался он, – как прикажете-сь, – а потом согнув голову, что воробышек перед дождем, поспешно удалился с террасы.

# Глава 1

Солнце закатилось, и ночь окутала горы без промежутка – только голубоватый отлив снегов на их вершинах маячил над чернеющими ущельями, проявляя скрытые в сумерках темно-синие морщинистые склоны, в нем сохранялся еще последний отсвет погасшей вечерней зари. В мертвой усталой тишине и безветрии, когда не шелохнется ни один сухой листок на кустарнике, запахло сыростью, и из ущелий выползал густой туман, закрывая собой ложбины.

Плоские и остроконечные вершины курились – по их бокам тянулись струйки дымных облаков, а поверх громоздились черные тучи – едва заметными крапинами за ними робко проблескивали звезды.

В расположении Тенгинского полка, недалеко от почтовой станции, молодой поручик подъехал к прилепившейся у скалы сакли, и едва он спрыгнул с коня и накинул на плечи бурку, как густо повалил снег. Поручик кинул поводья подоспевшим к нему осетинским милиционерам и, не обращая внимания на гомон их, споривших, кому отводить коня в стойло, быстро поднялся по скользким и мокрым ступеням и, толкнув дверь, вошел внутрь.

Сразу оказавшись в кромешной тьме и ощупью пройдя по хлеву, заменявшему местным жителям разом и сени, и прихожую, и лакейскую, офицер наткнулся на корову и в ка-

кой-то момент растерялся – он не знал, куда ему идти. Где-то совсем рядом заблеяла овца и, заворочавшись, заворчала собака. Тут впереди мелькнул тусклый свет, дверь распахнулась, и веселый голос полковника Потемкина позвал:

– Михаил Юрьевич, вы не заблудились? Сюда пожалуйте. Слышал, как подъехали вы, а потом запропастились куда-то. – Потемкин посторонился, пропуская поручика в саклю. – Верно, от кавказского народного колориту не вздохнуть, – добавил он, заметив растерянность вновь прибывшего офицера, – но, как говорится, чем богаты… На последний тур бостона вы вполне успеваете. Как добрались-то? Только-только до снегопада успели…

– Благодарю, князь, вполне сносно, – ответил поручик, – проходя внутрь. – В Ставрополе в госпитале провалялся. Но теперь ничего, вполне в силах. Причислен к Тенгинскому полку…

– Под моей командой будете, – ободряюще улыбнулся ему Потемкин, – бумаги, какие есть при себе, давайте – завтра оформим все чином. А пока – присоединяйтесь, – пригласил он новичка, – за картишками время коротаем. Господа, – обратился он к сидевшим за столом офицерам, – прошу любить и жаловать. Поручик Лермонтов. Откомандирован в кавказскую службу государем из гвардии, как и многие из нас, кстати сказать. – Добавил со скрытой насмешкой: – Автор «Арбенина» и стихов многих. Вместе служить станем. Не заскучаем, я так думаю…

Как и все подобные строения в округе, сакля внутри была широка – она опиралась крышей на два закопченных столба. Посередине прямо на земляном полу горел костер, и дым от него, выталкиваемый обратно ветром из отверстия в крыше, расстилался вокруг, да такой густой пеленой, что у молодого поручика с непривычки защипало глаза – он с трудом рассмотрел широкий дощатый стол и сидящих вокруг него офицеров. Двое из них потеснились, давая новичку место. Скинув бурку, он уселся меж ними, слегка смущаясь.

Несмотря на то что слава о молодом поэте уже разнеслась по обеим столицам, да и гораздо дальше, он все еще стеснялся ее. И теперь, встретив прямой, твердый, оценивающий взгляд своего командира, потупился, даже не заметив, как тот, пронзительно-зеленый и испытывающий, теперь заметно потеплел…

Наскучив уже картами, за столом пили чай и дымили трубками, добавляя в сакле дыму. Вернувшись к разговору, о новичке как будто забыли, снова предавшись рассуждениям о кавказцах и об их нравах, но особо – воспоминаниям о Петербурге и о тамошних дамах…

– Вот чего никак понять я не могу, любезный Александр Александрович, – немного лениво, нарастяжку, промолвил, обращаясь к Потемкину, светловолосый офицер в драгунском мундире с белокурыми, вьющимися от природы волосами, – так только одного: как вы, князь, с вашим происхождением и вашими связями на Кавказе оказались? Нас-то уж

понятно, за что отправили подалее: кого за стихи, – он бросил взгляд на Лермонтова, – кого за мысли вольные… А вы-то, князь? Неужто за то, что матушка ваша за бывшего государственного преступника замуж вышла?

– Вот уж насмешили, Одоевский, – откликнулся Потемкин, пыхнув трубкой, – матушка вышла, а я чем виноват? Притом преступника того, как вы выразиться изволили, графа Алексея Анненкова, государь простил, и с матушкой моей даже на балы звал позже. Нет уж, дело четырнадцатого декабря в моем случае вовсе не сыграло никакой роли. Сам я отличился в полной мере. Гнев государев на свою голову вызвал. Что ж о связях… – Потемкин вздохнул. – Все наши связи остались в том времени, о котором Михаил Юрьевич недавно дивно написал: «Забил заряд я в пушку туго, и думал, угощу я друга, постой-ка, брат-мусью!» Славно, славно написано, – снова взглянул он на Лермонтова. – Мне Денис Давыдов в списке переслал.

– Благодарю вас, князь, – скромно откликнулся поэт.

– Что же до происхождения моего, – продолжал Потемкин, – так не думайте, дружище Одоевский, что государь император очень уж рад нашему с ним родству – ведь не венчана была моя матушка с покойным императором Александром Павловичем. Если кто и скорбит обо мне в Петербурге ныне, так только милейшая бабушка моя Мария Федоровна. Она в последние годы сильно воспылала ко мне, так теперь письма пишет государской ручкой, будто день и ночь молит-

ся о том, чтоб не коснулась сашенькиной головушки черкесская шашка…

– Мало, что ли? – присвистнул Одоевский.

– А приписки в письмах ее делает, кто бы вы думали? – Саша загадочно помолчал, окинув собеседников взглядом. – Сама великая княгиня Елена Павловна, молодая супруга великого князя Михаила. Просвещенная особа, я вам скажу, – заметил он не без лукавства, – государыню бабушку мою Екатерину Алексеевну почитает за образец для себя, дневники ее цитирует построчно.

– А расскажите нам, полковник, красива ли молодая жена великого князя, – подал голос коренастый казачий хорунжий, сидевший напротив Лермонтова. – Мы уж одичали здесь, на Кавказе, но слыхали все ж, что хороша она собой.

– Что вам сказать? – ответил Потемкин, чуть прищурив насмешливые зеленые глаза. – Красавицей писаной ее не назовешь, но обаяния бесспорного – такое редко и встретишь. Много в ней этакого, как бы выразить вам, – Потемкин задумался, – породы, что ли… А она, порода-то, как известно, в первую очередь в поступи проявляется, в лице… Носик у жены великого князя правильный – такой на Руси где ж найдешь? Глаза голубые, лучистые. Посмотрит – сразу как в душу заглянет. Станом гибка она, волосы светлые, золотым отливом блещут, говорит мягко…

Прервав рассказ, вдалеке послышался грохот, как будто разом ударила целая артиллерийская батарея. От неожидан-

ности Лермонтов вскочил. Но Одоевский удержал его и усадил на место:

– Ничего страшного, поручик. Обвал. Обвал в горах, – объяснил он как-то даже скучно. – Наверняка дорогу завалило, в какой уж раз, снова саперов посылать придется. – И с хитрецой переспросил Потемкина: – Так, значит, пишет вам, князь, Елена Павловна? Самолично.

– Пишет, пишет, – подтвердил Александр, задумчиво кивнув головой, – опять же повторю, умна очень. Из супруга своего, великого князя Михаила, мечтает второго батюшку моего сделать. Может, и получится у нее. – Полковник пожал плечами. – Все расспрашивает у меня в письмах, каков он был, государь-то Александр Павлович. А я что ж ей отвечу? Я на него как на отца, а не как на императора смотрел… Ну а памятуя ваш вопрос, Одоевский, по поводу того, как я на Кавказе оказался, так скажу: обязан я тем младшему князю Голицыну, с которым из-за княжны Лейлы на дуэли рубился. Пало на меня, как я уяснил, подозрение, что уж слишком романтически на мой счет была особа та настроена, а у нее муж – ревнивец. Вот и сговорился с Голицыным, использовали дуэль как повод, чтобы отправить меня наконец подальше от прекрасной княжны – авось не промахнется черкесский клинок или пуля-дура. – Потемкин замолчал, обернувшись к закипевшему чайнику. В свете пляшущего пламени блеснули золотые эполеты на мундире полковника. Все взгляды сидящих за столом устремились к нему, никто не решался

нарушить молчание.

– Как вам, Михаил Юрьевич, Ставрополь показался? – Полковник перевел разговор на другую тему. – Только название – город, а так деревня деревней. Сдается мне, прескучно жить там. Порядочных строений нет, а грязи-то! Мы с Николя Долгоруким как приехали – полдня мотались по городу, чтоб вьюков сыскать, да так и не нашли ничего. Только к вечеру узнал я, что на трех офицеров полагается одна вьючная лошадь, а нас, как вы понимаете, господа, всего двое было. Вот пришлось еще Одоевского в компанию звать. Я подумал даже, что скорее не лошадь, а верблюда брать стоило – кормить и поить долго нет нужды. Только денщик мой Афонька не горазд управляться с такой животиной – боится ее. Одно и оставалось нам, что в вист играть. Вот Одоевский мне двадцать два рубля проиграл, мы их на лошадь и потратили…

– Да, скучно в Ставрополе, – согласился Лермонтов, отхлебывая горячий чай, – и волокита морочит. За прогонными деньгами трижды ходил в комиссариатское депо. Зато дорога до Екатеринодара после всех передряг – ровная, чудесная. Казачьи станицы в садах. Одно приметилось мне: тесны они, рвами да плетнями огорожены.

– То от черкесских набегов, – кивнул Одоевский, попыхивая трубкой, – а вдоль дорог валы строят, чтоб в зимнюю метель не заблудиться. Земля-то голая, нечему глаз зацепить. Только Эльборус (Эльбрус) висит снежной вершиной над ней. Лошади бешеные, люди дикие, язык непонят-

ный… Все не по-нашему, одним словом. Екатеринодар же – не лучше Ставрополя, согласитесь, – продолжал он, – трактира приличного – и того нет. Одна только черная харчевка, где ничего, кроме постного и приготовленного мерзко, достать нельзя. По реке Кубани самое заметное строение – гостиный двор, зато армяне там дерут вдесятеро, особенно со столичных…

– Да уж, глаз у них наметанный, – согласился с усмешкой Потемкин, – а вообще, в городишке, как я заметил, собак и скотов разных больше, чем людей. А при дождике малейшем из дома не выйдешь – в грязи по горло увязнешь. Хорошо, под солнцем сохнет быстро. Одно слово – не Петербург.

– Вот уж сравнили, ваша светлость, – хохотнул Одоевский в усы и тут же добавил: – В Екатеринодаре развлекло нас обстоятельство, знаете ли. Казаки в плен молоденькую черкесскую княжну взяли за Кубанью, так мы на нее глядеть ходили. Недурна собой, я вам скажу, и что всего страннее, чрезвычайно бела. Я так полагал, что они все – чернушки. А у той глаза – синие… Так наши женоугодники ей отдельные хоромы отвели из двух комнат, вычистили все. Молчалива собой княжна, но к своим возвращаться, как я понял, желания горячего не имеет.

– Ей у нас в плену лучше, чем потом у своих, когда родственники ее с выкупом приедут, – заметил ему Потемкин. – У черкесов обычай такой, что после выкупа пленники в свой аул уже не попадают, а обязаны всю жизнь работать и быть

рабами у тех, кто их выкупает. Жаль девицу – знает она, какая участь ее ждет.

– Но все же, господа, черкески поблагороднее наших, из местных, – отозвался Одоевский, – давеча на гуляниях я на местных барышень посмотрел: манер никаких, все развлечение – в качелях и в кусании орешков да семечков подсолнечных. Картинка забавная, но быстро надоедает.

– А что, господин полковник, какова задача у отряда? – поинтересовался Лермонтов. – Скоро ли выступим в экспедицию?

– Да, скоро уж, – кивнул Потемкин. – Вот только командующего нашего, генерала Вельяминова, со штабом дождемся. А пока до его прибытия все саперные и транспортные работы на мне возлежат. Задача наша, поручик, – продолжил он, серьезно взглянув на собеседника, – не из простых. Нам предстоит действовать здесь, за Кубанью, по юго-востоку от Еленчика (Геленджика) и разведать местность, куда русские войска до нас еще не проникали. По пути, как предполагается, нужно будет занять берега рек Шапсухо и Пшады, а коли боевые действия позволят, построить укрепления и оставить там гарнизоны. Учитывая то, что черкесские племена на пути нашем все, как одно, враждебны непримиримо, – прогулка выйдет у нас веселая, со стрельбой изрядной.

– Слышал я, сам мулла Казилбеч прибыл к шапсугам, – подал голос молодой князь Долгорукий, молчавший до того, – собирает силы…

– Пусть собирает, – заключил спокойно Потемкин, – померимся. Чья возьмет.

* * *

Снег густо летел, но теплее к ночи не становилось – под прогнивший порог крестьянской избы то и дело заметало бело. В полутемной горнице с закопченными дымом стенами у широкой печи князь Александр Александрович Потемкин играл в кости с детским дружком своим крепостным Афонькой. Играли на щелчки. Афонька выиграл и притих, съежившись: как же-сь князя-то по лбу бить?! Одно дело, когда детьми баловали – потрешь, бывало, пальцы хорошенько, чтобы кровь разошлась, примеришься на глазок, да и щелкнешь половчее! А теперича каково? Как бы палок не всыпали за таковскую ловкость вольную…

– Ну, чего пыхтишь, давай бей скорее. – Князь нетерпеливо скинул отороченный собольим мехом кафтан и наклонился к Афоньке, подставляя лоб. – Не тяни…

– Да совсем я бить разучился, батюшка барин, – заныл Афонька, отодвигаясь.

– Бей, говорю, – настаивал Александр, – мне твои поблажки ни к чему.

– Ох, промахиваюсь я что-то. – Афонька все ж схитрил: щелчок заготовил всерьез, чтоб никаких сомнений у князя не вызвать, а бил, едва касаясь, и все вздыхал: – Не та рука

уж стала, не та…

– Ты, гляжу, совсем щелчки бить разучился, – укорил его Александр.

– Да не разучился я, батюшка, – снова затянул жалостливо Афонька, – ослабел малость, – и кинул смешливый взгляд на закутанную в светлый мех девицу, что сидела на низенькой скамеечке под закрытым втулкой окном. – Может, и состарился. Что, не правда, что ль, барышня?

Девушка смутилась и, спрятав под шапку выбившийся локон, опустила глаза – ничего не ответила.

– Ты что ее спрашиваешь, – пожал плечами Александр, – она, что ж, тебя раньше знала? Без году неделя у нас. А я тебя знал, Афонька. – Он прищурил блестящие зеленоватые глаза и пригрозил дружку пальцем. – Отлыниваешь, браток. Вот уж мне придется, я тебе покажу, как щелчки надо бить…

– Так ради бога, соблаговоли, ваша светлость, – согласился Афонька, – давай партию еще кинем.

– Да нет уж, – отказался князь с насмешкой, – у тебя сегодня задумка одна, я чую – все время проигрываешь мне. Небось попросить чего хочешь, вот и угождаешь, а?

– Да не-е, вот тебе крест! – Афонька широко осенил себя знамением. – Ну, не затеялась игра маленько, знамо дело, – признался чуть погодя и снова кинул на девицу взгляд с хитрецой.

Александр прислонился спиной к печи, раздумывая.

– Слышь, Афонька, а медведь-то наш завтрешний здоров,

говорят? – спросил вдруг.

– Ну, большой, – пожал плечами тот. – Доезжачие сказывали, что пятерых округ Кузьминок выискали. А тот, на которого ваша светлость изволили выйти, – он из них всех самый здоровяк. Только ведь и ловцов на него много…

– Вот и я смекаю, – продолжал Александр, – велика ли честь – полком на одного заспанного зверя ходить?

– А чего ж нет? – настороженно придвинулся к нему Афонька. – Вот отзавтракаем по утрецу, подымут зверя доезжачие, там и дело стронется. Поднять медведя из берлоги зимой непросто. – Он упер взор в овчинный картуз, который мял в руках. – А уж коли подняли – смотри, не зевай!

– Слушай, Афонька. – Александр так толкнул мужика в бок, что тот чуть со скамьи не упал, качнулся. – А пошли вдвоем, пока все спят!

– Да что вы, ваша светлость?! – Афонька оторопел. – Эко несуразное дело затеваете – дух захватывает! Ночью на медведя – кто же ходит, да еще вдвоем. Снега-то нонче глубокие, оступись – задавит. Да опять же матушка ваша браниться станут, почему не остановил вашу светлость, мол… Попрекать…

– Что ты все про матушку? – поморщился Александр. – Не до седых же волос печься ей обо мне…

– Ну а государыня Марья Федоровна, коли дойдет до них? – не унимался Афонька. – Опять расплачутся. На бумажке белой рученькой писать станут, что нельзя, мол, цар-

ской кровушкой рисковать ради шалости… Не на войне же…

– Ты мне зубы не заговаривай, – прервал его весело Александр, – сразу скажи, трусишь, что ли?

– Не трушу. О вас забочусь, батюшка, – отвечал Афонька скоро. – Вот хоть бы вы, мадемуазель Маша, сказали бы ему, – снова оборотился он к девице, – удержали как…

– А мадемуазель, конечно, здесь останется, – откликнулся Александр и встал со скамьи. – И ты, Афонька, с ней, коль боишься. Я один пойду.

Афонька насупился, запыхтел обиженно:

– Вот уж скажете, ваша светлость. Вот пошто обидели-то? – отвернулся.

Александр подошел к нему, повернул за плечи, взглянул в лицо – глаза зеленые сияют, прищур озорной.

– Не бойся ты! Одолеем. Неужто мы с тобой вдвоем, молодцы молодцами, одного медведя не стоим?

– Я карабин возьму! – твердо сказал Афонька, опасаясь, как бы князь не отправился на зверя по старинке, с одной рогатиной. Александр решительно взялся за кафтан.

– Александр, постойте! – полудетская ручка, белая как шелковая бумага, выскользнула из беличьей муфты. Сорвала с головы меховой убор капором, ореол золотисто-пепельных волос обрамил тонкое лицо Маши, глаза чистые, голубые взволнованно взглянули на князя. Девушка была совсем юна, ей не так давно исполнилось четырнадцать лет – почти

ребенок. Беленькая. Бледная. Испуганная…

– Александр, я вас прошу, не ходите, это опасно, – не говорила, скорее лепетала она, и маленькая ручка ее, украшенная жемчужным перстеньком, снежной белизны и совершенной формы, коснулась соболиной опушки на одеянии князя. Неяркие, но тонко очерченные губы Маши дрожали: – Пожалуйста, не ходите, я прошу вас, – робко повторила она.

– Вы, мадемуазель, совершенно напрасно отправились с нами, – холодно отстранился от нее князь, – не девичье это дело по зиме морозной лесами да снегами разгуливать. Лучше бы вам в Кузьминках с матушкой моей Елизаветой Григорьевной да с княгиней Анной Алексеевной оставаться…

– Так ведь я же на медведя поглядеть хотела, – едва слышно ответила Маша, и щеки ее порозовели от незаслуженной обиды. – Я никогда не видела, как это бывает: снег белый, глубокий, и медведь из берлоги…

– Да уж, в вашем кармелитском монастыре на такое не поглядишь, – насмешливо согласился Александр, застегивая кафтан. – Только все фонтанчики да цветочки – розочки наверняка. Все равно, мадемуазель, останетесь здесь, – добавил он уже всерьез, – мы с Афонькой уйдем, вы свечи задуете и спать укладывайтесь. А поутру с охотниками отправитесь. Медведей-то, слышали, с целый пяток в округе бродит, так что и вам хватит поглядеть, только при свете дневном, а не ночью в темноте. А мы уж с Афонькой к утру вернемся, да и тоже вам компанию составим.

Поникнув головой, Маша сжала руки на груди, отошла к печке – слезы подступили к глазам, но она сдерживалась. Только голову клонила все ниже, чтобы князь слез ее не заметил. А он уж и не глядел на нее – вовсе позабыл и только торопил дружка-охотника:

– Дуй, дуй на свечи, Афонька. Пусть все думают, что мы спокойно почиваем тут. А сами – айда!

Уф – свечи погасли. Недолго повозившись в сенях, шепот долетал едва, Александр и его спутник вышли из избы – только дверь охнула. И все стихло.

Дорогу к берлоге охотники приготовили заранее. Но по снегу лесному, подмосковному легко не пробежишь в разгар зимы – ступить на него нельзя, так скрипит. Аж визжит!

– Как пойдем-то, Афонька? – спросил князь озадаченно. – Как бы нас с музыкой такой медведь за три версты не услышал.

– Знамо дело, как, – весело откликнулся Афонька, – старым способом, дедовским. – И, спрыгнув с тропы, покатился по снегу.

Князь последовал его примеру – так и докатились до края опушки. Встали, отряхнулись. Луна уж в зенит вошла – тени светлые, жемчужные на сугробы забрались. Все деревья в ризах холодного голубого огня застыли.

– Вот залезть бы, Афонька, в сугроб, затаиться, – мечтательно проговорил Александр, оглядываясь.

– А чаво лезть-то, барин, – пожал плечами тот, – гонится

за нами что ли кто?

– А, не понимаешь ты! – Александр сорвал с руки меховую рукавицу и ударил ею по еловой лапе – снег, искрясь, посыпался вниз.

– Чудо посмотреть хочу, Афонька, – проговорил он, – кто ж такую красоту устраивает… Тишину послушать…

– А зачем смотреть? – отозвался мужик с сомнением. – И так ясненько – Господь Бог. Он и устраивает все. Поблагодарил Бога да дальше иди…

– Ох, не перебьешь тебя, брат. – Потемкин сделал несколько шагов вперед, прислушался: – Скрипит, что ли?

– Да будто скрипит…

Вдруг – ба-а-ах! Как из артиллерии жахнуло, аж пригнуло обоих охотников. А над лесом облачко завилось – снежный прах с разодранного морозом дерева к луне улетел.

– Крепчает зимушка, деревья рвет. – Афонька нагнулся, зачерпнул снега, щеки потер, чтоб не покусало. Поглядел вперед. – До берлоги еще версты две будет, – заметил деловито, – на горку взойдем, а там все время спуск – лихо скатимся.

Звук охотничьего рожка проскользнул в охваченное дремой пространство леса, едва розовые пальчики зари дотронулись до его заснеженных верхушек. Вслед за тем запалило Афонькино ружье – «пугачом» мужик поднимал зверя. На тот выстрел в ответ – словно пушечный удар послышался из-под земли, а за ним – рев.

Вылетел разбуженный хозяин лесной чащи – до охотников донесся шум ломаемых ветвей и глухое рычание. Несмотря на мороз, Афонька стер со лба рукавом выступившую испарину. Хруст ветвей усиливался, и медведь вырос, разорвав стройный ряд невысоких елей, в круге лунного света – огромный, черный. Прямо между Афонькой и князем Александром… Несколько мгновений зверь смотрел на людей, не зная, на кого броситься первым, и тогда, решив отвлечь зверя от князя, Афонька бросил в него жестяной кружок, припасенный заранее, чтобы сердить.

Медведь ловко схватил кружок и смял его в лапах, продолжая реветь. Афонька приблизился на шаг и бросил в него второй кружок. Медведь схватил и этот кружок и разгрыз его зубами. Чтобы еще больше разозлить зверя, Афонька бросил ему третий кружок. Но, видимо, решив не тратить время на мелкие предметы, медведь страшно заревел и пошел на него.

Афонька отступал. Хорошо видя, какова опасность грозит его дружку, Александр издал резкий свист. Медведь повернулся в его сторону и встал на задние лапы. Выхватив кинжал, князь бросился на него…

– Саша! Саша! – закричав, она проснулась и вскочила на постели. В раскрытое окно залетал солоноватый черноморский бриз – за темными вершинами гор виднелась мерцающая лунными дорожками полоска воды, а вдоль нее тянулись свечки кипарисов, перемежаясь со стройными белыми пиками минаретов. Предрассветную тишину, особо чуткую, на-

рушал только тонкий звон металла – в ближайшем ауле чеканщики еще до света выводили твердые узоры на высокогорлых бронзовых кувшинах, столь часто встречающихся в этом краю, и на оружии, с которым едва ли не каждый мужчина-черкес не расстается даже ночью.

Сдернув висящую на краю ее ложа зеленую турецкую шаль, обильно вышитую красным шелком, она обернула ею плечи поверх наглухо закрытой по вороту холщовой рубашки с длинными, спускающимися почти до пола рукавами и подошла к окну. Как часто та давняя жизнь в России, которая, казалось бы, вот-вот откроется пред ней счастливо, безбедно и спокойно, являлась ей теперь во сне. Только во сне она возвращалась к юным мечтам и первой детской влюбленности, неразделенной и до того неизведанно горькой, к девичьим слезам, к мимолетным надеждам, которые, едва явившись, бесследно исчезли…

Дверь в келью приоткрылась – согбенная старуха, закутанная в черное, проскользнула внутрь и, простучав деревянными башмаками по каменному полу, остановилась.

– Кесбан, ты ли? – спросила Маша ее по-турецки и обернулась.

– Я, я, красавица моя, ох, холодно, холодно… – Старуха вытащила из-под покрывала, скрывавшего ее тело, сухонькую коричневую ручонку и оправила платок на голове – лицо ее оставалось в тени. Когда-то самая прекрасная из наложниц великого визиря Турции, она едва избегла смерти за из-

мену хозяину, но много времени провела в земляной тюрьме. С тех пор она ненавидела холод, а бесчисленные болезни, постигшие ее, не оставили от дивной красоты Кесбан и следа, до времени превратив в старуху.

– Не ждала меня, Керри? – проскрипела старуха, ткнув пальцем в разобранную постель. – Позабыла, что ль?

– Ждала да задремала. – Вот так вот. Теперь она – Керри. И только она одна во всем окружающем ее мире знает, что когда-то у нее было другое имя и другая жизнь. Только она. И несколько важных мужей в далеком-далеком Петербурге. – Ты проходи, проходи, – отбросив шаль, она помогла старухе усесться на укрытый бархатной подушкой табурет в самом темном углу кельи. Кесбан сдернула платок – она не любила, когда лицо ее освещалось, будь то солнечный свет, будь то луна. Лицо бывшей наложницы покрывали плохо зажившие шрамы, оставленные плетями евнухов, и она никогда не забывала об этом. Когда-то густо черные, каждая толщиной с руку, – а теперь жидкие и совсем седые, – две косы упали на впалую грудь Кесбан…

– Вот, попей да поешь с дороги, – хозяйка кельи подала гостье поднос, на котором виднелось широкое блюдо с персиками, орехами и сушеным инжиром, а также стоял бронзовый кубок с малиновым щербетом. – Спокойно ли добралась? – спросила, когда та принялась за кушанье.

– Где ж спокойно, красавица моя? – проговорила старуха неразборчиво. – Тут – гяур с ружьем, там – джигит с саблей.

Засек понаделали, ям нарыли. Волки воют – оголодали, змеи так и вьются. Только поворачивайся… Я же по ночам шла, днем, того гляди, то на тех, то на этих нападешь. А ответ один: голова с плеч и – отправляйся к Аллаху. Вот передохну у тебя и – в обратный путь, пока еще заря не занялась… Я тебе, красавица, весть принесла, – старуха наклонилась, и один глаз ее, затянутый бельмом, осветился луной, – от Абрека. Он велел сказать тебе, что посланец из столицы прибудет днями и говорить с тобой желает он о важном деле.

– Из столицы, из Петербурга? – переспросила она взволнованно и против воли вздохнула. – Так и сказал?

– Так и сказал. Жди условленный посыл от него. Как прилетит к тебе голубь серый, так через два дня от того отправляйся к полночи в пещеру у моря, где и раньше бывала. Смотри не спутай чего – через два дня… Запомнила?

– Запомнила, запомнила. – Она закивала в ответ и, не надеясь на удачу, спросила: – А не сказал тебе Абрек, кто посланцем из Петербурга прибудет?

– Как не сказать, сказал… – Старуха поковыряла длинным черным ногтем в ухе. – Только запамятовала я. Но из здешних он, из бжедухов правоверных, но на гяурской службе. Полковник ихний. Хан-Гирей. – Она закатила к потолку единственный здоровый глаз и тут же подтвердила: – Да. Так и сказал мне Абрек. Хан-Гирей. С ним увидишься.

Свернувшись по-кошачьи на ее постели, Кесбан спала, прихлипывая во сне. Ущелья выдыхали голубоватый предут-

ренний туман. Придвинув табурет к окну, Мари села на него, охватив руками колени. Посланец из столицы, из Петербурга… Она встретится с ним через несколько дней. Наверняка полковник Хан-Гирей привезет ей… Что? Быть может, столь долгожданное разрешение военного министра Чернышева вернуться домой?! Быть может, все кончено, все прошло? Но нет, Кесбан сказала, что говорить адъютант министра намерен с ней о важном деле. А значит – миссия ее не исчерпана.

В апреле на Кавказе уже отцвели сады и созревают плоды на фруктовых деревьях, усеяны дикими розами кустарники и вьется в обилии молодая виноградная лоза. А там, в далеком Петербурге… О, весь Петербург наверняка устремился в Стрельну, и на большой дороге теперь нет проходу, пыль столбом, и верно, вечером в столице не найдешь ни одной кареты…

Взор Мари снова обратился к окутанным туманом горам, и их покрытые густой дубравой склоны вдруг представились ей темно-зелеными разводами на отшлифованных камнерезами боках яшмовых ваз в петербургских залах, а перезвоны чеканщиков – позвякиванием шпор на мраморных лестницах…

Она прекрасно помнила теплый весенний день, когда состоялся ее первый выход в свет. Правда, тогда она представлялась не в Стрельне, а самом Зимнем. И долго стояла пораженная, забыв обо всем, у великолепной вазы из уральской

яшмы, украшающей балюстраду дворца – никогда прежде Мари не видела подобной красоты: буйство красок от коричнево-красных до нежнейше-желтых и палевых оттенков ослепило ее. Причудливый узор вобрал всю палитру осеннего леса, над которым разгорается яркая вечерняя заря. Ручки же вазы были исполнены в виде мифических голов животных с позолоченными рогами…

– Мадемуазель Мари, нам нельзя задерживаться здесь, – князь Александр Потемкин вежливо взял изумленную девушку под локоть и осторожно потянул за собой, – не оступитесь, мадемуазель. Нас ожидают матушка и граф Алексей Александрович. Нам следует поторопиться для представления государыне…

Приготовления к балу – бесчисленные примерки платья и куафер, – стоили Мари больших трудов и соображений. Она испытывала волнение, переходящее подчас в ужас, – воспитанная в монастыре, она не бывала прежде при монаршем дворе. А весь предшествующий балу день она чувствовала себя так, как будто готовилась к битве: сердце ее билось сильно, а мысли не могли ни на чем остановиться.

К тому же Таврический дворец князей Потемкиных, в котором юная француженка оказалась накануне бала, поражал богатством и великолепием, но Мари он испугал, и в первые дни вызвал даже мрачные мысли. Ей почему-то стало безнадежно грустно в его роскошных интерьерах и огромных залах.

Мари знала, что дворец прежде принадлежал всесильному князю Потемкину, отцу княгини Лиз и деду Александра. Вряд ли она отдавала себе отчет, но ей сразу почудилось, что дворец живет особенной, своеобразной жизнью, жизнью прошлого, которое тенями ютится в его дальних закоулках. Прошлым дышали складки гардин и портьер, полотна старых портретов, гобелены стен, и девушку пугала мысль: а вдруг все это прошлое оживет и явится в сумерки привидениями.

Однако теперь от страхов и сомнений не осталось и следа. Мари сама себе удивлялась: в сложном тюлевом платье на розовом чехле она вступала на бал свободно и просто, как будто все розетки, кружева, все подробности туалета не стоили ей ни минуты внимания, как будто она родилась в этом тюле, кружевах, с этой высокой прической, с розой и двумя листками наверху.

Увидев множество дам перед входом в залу у зеркала, желавших оправить свои наряды, она даже не задержалась, уверенная, что все само собой должно быть на ней хорошо и грациозно и поправлять ничего не нужно.

Казалось, наступил один из самых счастливых дней в ее жизни, когда все складывалось удачно: платье не теснило нигде, розетки не смялись и не оторвались. Розовые туфли на высоких выгнутых каблуках не жали, а веселили ножку. Густые локоны белокурых волос на затылке, оттенявшие ее природные золотисто-пепельные волосы, держались есте-

ственно. Пуговицы, все три, застегнулись, не порвавшись, на высокой перчатке, которая обвила руку, не изменив ее формы. Черная бархатка медальона нежно окружала шею – она очень нравилась юной мадемуазель, просто прелесть, а не вещица!

В обнаженных плечах и руках Мари чувствовала холодную мраморность, глаза ее блестели, и румяные губы не могли не улыбаться от сознания собственной привлекательности, заглушившей волнение.

Гербовый зал Зимнего дворца, открывшись, на мгновение ошеломил ее величием, и она не сразу различила в сверкании множества свечей, отраженных гладкой поверхностью выложенных самоцветами стен, фигуры гвардейцев в высоких медвежьих шапках, напоминавших головные уборы старой наполеоновской гвардии, увешанных орденами и лентами сановников, щебечущую толпу дам: в тюле, лентах и цветных кружевах. Внимание девушки привлекли некоторые из них, одетые, как ей показалось, очень странно: в вышитых платьях наподобие сарафанов и высоких кокошниках на голове. Она в растерянности задумалась: разве теперь так носят? Возможно, сама она одета старомодно?

– Не волнуйтесь, мадемуазель. – Александр перехватил ее взгляд и, заметив, что Мари побледнела, поспешил успокоить ее: – Это фрейлины императрицы и великих княгинь. Государь распорядился, чтобы придворные дамы носили одеяния в старинном русском стиле, и все их узнавали по ним

издалека. Что-то вроде мундира у военных. Идемте, мадемуазель, матушка государя уже заметила нас и негоже заставлять ее ждать…

Вдовствующая императрица Мария Федоровна, в девичестве принцесса Вюртембергская София Доротея, по юности отличалась при нежной и хрупкой внешности той твердостью духа и сердца, что редко встречаются среди женщин. Она всегда с необыкновенной энергией и выдержкой отстаивала свою правоту и не боялась раскрыть неприглядность правды, если бывала уверена в ней. Самая красивая из трех племянниц прусского короля Фридриха по природе была тиха, но не пуглива. С годами она сохранила черты, которыми покорила сердце наследника русского престола Павла Петровича: непотускневший взгляд больших синих глаз государыни говорил о тихой преданности ее покойному мужу и его детям, о душевной глубине, о способности к состраданию и великому подвижничеству сердца…

– Вот я и снова вижу вас, девочка моя, – императрица милостливо приветствовала княгиню Потемкину, склонившуюся перед ней в реверансе. – Я вижу вас по-прежнему сильной, и гордой, и правой, и счастливой… Я рада, что вы последовали моему совету и оказались достаточно стойки. – Взяв Лиз за руку, императрица приблизила княгиню к себе: – Я вам признаюсь сейчас, – продолжила она, понизив голос, – я приехала в Россию в тот год, когда вы родились, и мой будущий супруг, великий князь Павел, узнал, что у него появи-

лась сестра, законная сестра. Сейчас, когда прошло столько лет, я смотрела, как вы подходите ко мне, и мне почудилось, я узнаю в вас вашу мать, Лиза. Мне снова представилось, что она приближается вместе с графиней Браницкой ко мне и сопровождающим меня дамам, чтобы посмотреть на наши «фрецхен» (мордочки), как она выражалась, и я снова попадаю под ее взгляд, светящийся умом, грациозной насмешливостью и страстью, под ее величие и очарование. В тот день между мной и вашей матерью не возникло симпатии, совсем наоборот. – Мария Федоровна вздохнула. – Но с годами я на многое стала смотреть по-другому. И о ней, об императрице Екатерине Алексеевне, я тоже думаю иначе. Я лучше понимаю ее. Скажите мне, Лиз, – спросила она с трепетом, – теперь, когда вы соединились с тем, кого давно любили, вы вспоминаете ли Александра?

– О, да, Ваше Величество, – ответ княгини Лиз прозвучал искренне. – Я не забуду никогда Его Величество, как не смогу забыть свою юность, – и голос Потемкиной против воли дрогнул. – Он всегда в моем сердце. Тем более что Господь не дал мне других детей, только сына Александра Павловича…

– Он здесь? – оживилась Мария Федоровна. – Так где же он? – Она приложила лорнет к глазам. – Пусть подойдет ко мне…

– Обратите внимание, любезная Мари-Клер, – насмешливо говорил князь Потемкин своей юной даме, проводя ее по

залу, – вон тот важный господин с усами в окружении сановников – сам российский государь Николай Павлович и мой милейший дядя. А вон та приятнейшая особа в лорнете – моя милейшая бабушка, императрица Мария Федоровна… В последнее время она меня чрезвычайно пылко полюбила.

Мари-Клер не верила своим ушам – она не могла понять, Александр насмехается над ней или говорит правду. В смятении она остановилась и, взглянув на князя, спросила растерянно:

– Разве первый муж княгини Елизаветы Григорьевны принадлежал к императорской семье?

– Ну, в некотором роде, безусловно, – ответил ей Александр с иронией. – Более того, он сам был императором. Император Александр Павлович, старший брат нынешнего государя, был моим отцом. Вот только мужем моей матушке он не был. – Добавил сразу без тени смущения: – Такое случается, любезная Мари-Клер. Как я знаю, не только в России. Но меня своим сыном государь признавал и баловал. Оттого его родственники все так милы со мной нынче. Других-то детей покойный император не оставил…

– Подойдите, Сашенька, – взмахнув веером, императрица Мария Федоровна подозвала Потемкина к себе. – Вы помните своего отца?

– Конечно, Ваше Величество, – отвечал Александр.

Мария Федоровна протянула ему руку для поцелуя, и когда полковник склонился к ней, погладила другой, облитой

сверканием драгоценных камней на перстнях, его вьющиеся черные волосы:

– Помните о нем, мой мальчик, – произнесла она проникновенно, – даже когда уже не станет в живых меня и вашей матери. Говорят, что внуки похожи на дедов больше, чем на отцов. Я бы очень хотела увидеть ваших детей, Сашенька. Возможно, кто-то из них окажется вылитый мой сын. Я уже стара, мой мальчик, – продолжила она с печальной улыбкой. – Не заставляйте меня долго ждать.

– Я буду помнить о вашей просьбе, Ваше Величество. – Александр подавил волнение, и только блеск зеленоватых глаз выдал его: – Я постараюсь не разочаровать ни вас, ни свою матушку…

– А отбивать молоденьких жен у престарелых мужей – это очень, очень плохо, Сашенька. – Мария Федоровна лукаво пригрозила князю пальчиком.

– Я вовсе не понимаю, Ваше Величество, – Александр возмутился, но не смог скрыть улыбку – бабушка, как всегда, все знает.

– Я говорю о княжне Лейле. – Мария Федоровна наклонилась к своему любимцу: – Конечно, ее супруг – полная развалина, – она заговорщицки понизила голос, – но нельзя же так откровенно, дорогой мой. Мне все говорят, впрямую и намеками, но я постоянно делаю вид, что мне ничего неизвестно…

– Вы замечательная бабушка, – прошептал венценосной

родственнице князь Александр, – я вас очень люблю, государыня…

Звезды и месяц за окном совсем поблекли, и солнце робко показалось из-за снегового хребта. С минаретов заголосили муэдзины, призывая правоверных на молитву. Красноватые скалы гор, обвешанные зеленым плющом и увенчанные купами чинар, посветлели, бахрома снегов позолотилась, а после – заалела. Безымянная речушка, шумно вырывающаяся из черного, полного мглою ущелья, засеребрилась словно змея чешуею. Старуха Кесбан повернулась, всхлипнув. Подняла голову и, прищурив здоровый глаз, вытерла стекшую по щеке слезу. Потом спустила почерневшие от грязи жилистые ноги, сунула их в башмаки и зачесала, зачесала тело…

– Пора уж, красавица моя? – спросила она у Мари, накинув платок.

– Пора, – подтвердила та. – Как думаешь, Абрек верен русскому государю? – сомнение давно уж мучило ее.

– А почему спрашиваешь? – удивилась ее вопросу турчанка. – Он по многому обязан наместнику гяурскому, Ермол-хану, что тот спас его от верной гибели, когда персидские сарбазы (солдаты) вырезали всю его семью. В здешних краях такого не забывают… А что? Не веришь ему? – Кесбан снова завернулась в черное покрывало и стояла перед Мари, ожидая ответа.

– Пока верю, только о здешних местах другое знаю, – произнесла та задумчиво. – Верить бжедуху или шапсугу, все

равно, что добровольно голову в петлю совать и самому у себя из-под ног скамеечку выбить. Обмануть неверного здесь не почитают за грех, а наоборот, – за удаль. – И тут же спохватилась: – Пойдем, провожу тебя, а то совсем рассветет…

– Да, поспешу я, – старуха зашмыгала к дверям. – Ты про голубя не забудь…

– Не позабуду. Не беспокойся. А при следующей встрече с посланцем из Петербурга упомяну о вознаграждении тебе, как условились…

– Так мне многого не надо, – у старухи от радости вырвался присвист, – до смерти бы дожить в покое.

– Я помню, Кесбан. Помню. Пойдем…

# Глава 2

Родителей своих Мари-Клер не помнила и ничего о них не знала до той поры, пока ей не исполнилось четырнадцать лет и жизнь ее не повернулась столь резко и неожиданно, как она в ранние годы свои и вообразить не могла. Сколько вбирала в себя память юной воспитанницы обители кармелитов, пространство ее жизни всегда ограничивали высокие, беленые известью стены монастыря Святой Терезы Авилы, вознесшегося на мысе Каталана, близ Марселя.

В давние времена, когда могущественная империя мавров простиралась от Испании до Индии, арабские мореплаватели достигли и этих пустынных мест и основали здесь поселение, первым делом возведя мечеть на выдающейся в море скале, так что ее было далеко видно со всей округи.

Как и многие постройки арабов, мечеть имела прямоугольные очертания. Рядом с ней существовал зеленый двор с фонтаном, который предназначался для омовения перед молитвой. Стены мечети обильно украшали мраморные и гипсовые резные пластины. Даже спустя столетия в перестроенном здании можно легко было найти то особое место на обращенной к Мекке стене, где находился михраб, ниша для Корана, облицованная мозаикой и эмалью.

После изгнания арабов, мечеть долго пустовала и разрушалась, пока мыс Каталана не присмотрели для своего при-

станица христианские монахи-кармелиты. Последователей французского отшельника святого Бертольда, учредившего Орден Кармелитов в начале двенадцатого века в Палестине, на Каталане привлекло то, что особая природа, окружающая мыс и поселения вокруг, напоминала им о восточных землях. Действительно, многие потомки первых мавританских мореплавателей так и остались жить на Каталане. Они говорили на своем языке, представлявшем собой причудливую смесь арабского и латыни, молились своему Богу, немного Магомету и немного Христу, – жили как морские птицы в гнездах на скале, совершенно обособленно и скрытно.

Обосновавшись на мысе, первые кармелиты привлекли арабских мастеров, оставшихся в селениях, к воссозданию храма, только теперь уже посвященного Иисусу Христу. Однако арабы строили монастырь по-своему – сурово и строго внешне, но с необычайной роскошью во внутреннем убранстве. Привычные к сухой и знойной погоде, царящей в этих местах, они особо заботились о том, чтобы обеспечить обитателям монастыря прохладу. Для этого они воссоздали прямоугольный двор мечети с тенистыми деревьями, жилые постройки притиснули как возможно ближе друг к другу, что мешало проникновению солнца, а весь монастырь обнесли высокими, мощными стенами, сделав его похожим на мавританскую крепость.

У маленькой золотоволосой девочки, когда, одевшись впервые в просторную коричневую тунику кармелитов с ши-

роким белым наплечником, Мари-Клер сделала свои первые самостоятельные шажки по монастырю, его гипсовые своды, подковообразные арки и напоминающие длинные монашеские капюшоны выступы вызывали благоговейное восхищение и трепет…

Главный собор монастыря, посвященный святой мученице Терезе, благодаря его тонким стенам и игольчатым колоннам, поддерживающим крышу, походил на гигантский шатер, раскинувшийся над морем. Ранним утром, когда солнце вставало, яркое и сверкающее, его первые пурпурные лучи расцвечивали рубинами пенистые гребни волн и играли множеством жемчужных и опаловых красок на бесчисленных арабесках, украшающих своды храма, на перламутровых мозаиках, вставленных в огромные павлиньи перья, обрамляющие входы и высокие стрельчатые окна собора.

Жили монахини также по-мавритански: в их скромных кельях не существовало кроватей – их заменяли покрытые грубой холщовой тканью оттоманки, а вместо шкафов они пользовались стенными нишами с дверцами, которые имели решетку из точеных деревянных полочек.

В главной молельной комнате и в общей монастырской столовой поражали огромные деревянные скамьи и сундуки, стоящие в нишах окон, – они были обиты потершейся с годами кожей, а поверх нее перетянуты ажурными металлическими накладками.

Самым же красивым украшением монастыря Мари-Клер

казались витиеватые решетки, которые встречались повсюду – они обрамляли окна, входы, балкончики, даже ступеньки, ведущие в погреб и подвалы. Девочка часами могла рассматривать свитые мастерами узоры – тончайшее железное кружево, главные линии которого напоминали вставшую на дыбы волну и часто изображали изогнутый стебель цикламена, цветущего в монастырском саду повсюду, а также какие-то сложные конусообразные фигуры, множество раз переплетенные между собой.

Сила, изящество, смелость орнамента будоражили фантазию Мари-Клер, и оставшись наедине с собой, она часто предавалась мечтам о далеких и сказочных странах, где родилось вдохновенное искусство.

Однако жизнь девочки в монастыре протекала изо дня в день однообразно, по раз и навсегда установленному порядку – в ней никогда ничего не менялось. Ранний подъем, скромная трапеза – по установлению своего первого магистра Альберта Верчели кармелиты не употребляли в пищу ни мясо, ни молочные продукты, – потом занятия с воспитательницей, снова молитва, предписанное уставом созерцание, труды по монастырскому хозяйству, опять молитва и – сон.

Долгое время Мари-Клер представляла себе, что вся жизнь во всем мире устроена именно так, по уставу монахинь святой Терезы, и не догадывалась, что за монастырскими стенами, всего лишь в нескольких лье от обители бурлит

совсем иная жизнь – большой портовый город Марсель, не затихающий ни днем ни ночью.

О его существовании Мари-Клер узнала случайно, от своего ровесника, сына рыбака из ближайшего поселка, который вместе с отцом привозил в монастырь свежую рыбу. От него же она открыла для себя, что, оказывается, на свете существует еще один очень большой и красивый город, и там совсем недавно народ вышел на улицы, чтобы покончить с дряхлыми Бурбонами, теперь уже навсегда. Большие черные глаза мальчишки горели, когда он вдохновенно произносил совершенно непонятное для Мари-Клер слово: «Революция!», но он сразу затих и сник, как только отец, рассчитавшись с аббатисой монастыря, приблизился к нему и, взяв за руку, усадил на телегу.

Рыбак и его сынишка уехали, а Мари-Клер долго не могла решиться спросить у своей воспитательницы, что же это такое «революция» и далеко ли от их монастыря до того самого Парижа.

Воспитательницей Мари-Клер была сама аббатиса кармелитской обители сестра Лолит. По малому возрасту своему Мари-Клер не задумывалась над тем, почему именно на нее обратила внимание настоятельница, почему именно ее из почти двух десятков девочек, воспитывающихся в обители, она приблизила к себе. Узнала она о том гораздо позднее.

Уже в ту пору, как память Мари-Клер впервые запечатлела любимую наставницу, сестра Лолит пребывала в преклон-

ных годах, но весь ее облик говорил о том, что в молодости она отличалась необыкновенной красотой и грацией.

Соученицы Мари-Клер все как одна восхищались сестрой Лолит и в редкие минуты, когда им разрешали пообщаться друг с другом, усаживались в патио у фонтана и рассказывали восторженные истории о настоятельнице, в которых всегда вымысел господствовал над правдой.

Так Мари-Клер почему-то пришло в голову, что сестра Лолит родилась в тех заветных краях, где живут мастера, изготовившие для монастыря его чудесные ограды и решетки, и как выяснилось – она не ошиблась. Сестра Лолит действительно приехала во Францию из Сирии. Ее черты, идеально нежные, походили на изображения древних богинь, которые Мари-Клер рассматривала в старинных книгах, узнавая от наставницы, что так древние египтяне представляли себе Исиду и Гатору.

Неизменный белый капюшон рясы оттенял смуглую кожу аббатисы, ее правильное лицо, на котором обрисовывались продолговатые черные глаза, подернутые невыразимой грустью. Наверное, за всю свою жизнь в монастыре Мари-Клер не могла бы вспомнить мгновения, когда бы сестра Лолит смеялась. Она всегда выглядела печальной. Только губы ее, если наставница особо бывала довольна своими девочками, складывались почти в невольную, скорбную улыбку, а нос, слегка сдавленный у бровей, открывал безукоризненно правильный вырез ноздрей – все это делало лицо аббатисы еще

привлекательней.

Когда же настоятельница снимала капюшон, что случалось редко, то открывались ее блестящие черные волосы, заплетенные в косы и скрепленные на затылке, – бледные щеки аббатисы округлялись и в гладких линиях их проглядывали явственнее восточные черты ее профиля.

Со своими воспитанницами сестра Лолит держалась строго и требовательно. Однако никто бы из них никогда не назвал ее злой или вредной. Аббатиса всегда оказывалась справедлива и, даже если наказывала, нечего спорить – всегда за дело.

Заметив интерес юной Мари-Клер к арабским орнаментам, сестра Лолит открыла ей тайну: узоры древних мавров очень похожи на их письмо, и начала обучать воспитанницу арабскому и турецкому языкам. Так перед Мари-Клер открылся совершенно неизведанный для нее мир – мир восточной сказки, а чуть позднее – многовековой мудрости.

Спросить у сестры Лолит, что означает слово «революция», Мари-Клер так и не решилась, но некоторое время спустя аббатиса сама произнесла его. Это случилось, когда Мари-Клер исполнилось четырнадцать лет и ей пришло время узнать, кто были ее родители и почему она оказалась в монастыре.

Однажды утром, едва закончилась молитва, аббатиса призвала воспитанницу в небольшой зал, служивший ей кабинетом. Он располагался на самом верху отдельно стоящей баш-

ни, и ключ от него хранился только у сестры Лолит. С замиранием сердца Мари-Клер поднималась по узкой винтовой лестнице, ведущей в апартаменты ее наставницы, – никогда прежде она не посещала башню Ключа и Скважины – так называли самое древнее строение в монастыре его обитатели.

По пути девочке вспомнилось, как сестра Лолит рассказывала ей, будто в незапамятные времена, когда юный арабский халиф по имени Ширух высадился со своими подданными на Каталане, небеса померкли над ними, разразилась гроза, молнии рассекли небо, завилась огромным столбом черно-золотая пыль. Едва лишь гром стих и небеса успокоились, перед испуганными воинами ударил сноп голубого света и явился халифу и его подданным сам чернокрылый ангел Мункар, посланец Аллаха, во всем своем устрашающем величии. Ангел стоял на утесе. Взмахнув огромными крыльями, он повелел Шируху отстроить здесь сторожевую башню, ибо так угодно Аллаху, и склонившись, бросил к ногам юного властителя ключи. «Если построишь башню – этими ключами ты отопрешь для себя двери в рай», – прогремел голос ангела, и… Мункар исчез.

Ширух исполнил свой долг – башню возвели быстро, она стала первой мавританской постройкой на Каталане. Никто не знал, заслужил ли халиф Ширух для себя дорогу в рай, известно только, что он умер во цвете лет, отравленный родным братом, который в свою очередь тоже погиб от руки предателя. Башня же пережила не только своего создателя, но

и правление мавров на Каталане, их разгром и изгнание, и многое, многое другое…

Взволнованная Мари-Клер подошла к дверям зала и с усилием толкнула ее. Окованная железом дверь приоткрылась – девочка застенчиво заглянула внутрь и обмерла… Вся зала купалась в неярких еще лучах утреннего солнца и показалась юной воспитаннице монастыря обиталищем сказочных существ.

Небольшая комната, служившая для аббатисы Лолит кабинетом, имела необычную восьмиугольную форму и напоминала ею цветок цикламена. Стены зала затягивала тисненная темно-красная кожа, покрытая мелкими золотистыми узорами, по углам же отделку дополняли деревянные панели из черненого кедра, столь тщательно испещренные резной вязью, что издалека они походили на тканые персидские ковры.

Пол в зале был выложен из серых и черных мраморных плиток, расположенных в шахматном порядке. От самой двери по нему расстилался узкий и длинный темно-зеленый ковер, вышитый потершимися с годами шелковыми черными маками.

Ковер приводил к массивному старинному столу, за которым и сидела наставница-аббатиса. Своей формой стол совпадал с очертаниями зала – он так же имел восемь углов и был сделан из черного эбенового дерева. Посередине же его сияла рыжим огнем круглая медная пластина, вставленная

по мавританской традиции в деревянную столешницу. Толстые округлые ножки стола по бокам украшала резьба, покрытая тонкой металлической окантовкой.

Окна в зале были распахнуты, солнечный свет свободно проникал в них. Зал располагался довольно высоко – башня Ключа и Скважины издавна считалась одной из самых высоких построек в монастыре и уступала тем только собору Святой Терезы. Потому зубцы стен виднелись едва-едва из окон, а сразу за резной отделкой ставен открывался вид на море: лазурно-солнечный, ослепительный простор, разрезаемый метущимися белыми молниями чаек и бакланов, – их распластанные крылья то и дело мелькали в проеме окон, а тишину разрывали резкие гортанные крики. На горизонте виднелся корабль – он шел в гавань Марселя, и ветер дул в его тугие желто-белые паруса.

Сестра Лолит склонилась над столом и читала письмо. Услышав, как приоткрылась дверь, аббатиса подняла голову, Мари-Клер сразу заметила, что в чудных темных глазах наставницы блеснули слезы.

– Подойди, девочка моя, – подозвала она воспитанницу.

Мари-Клер приблизилась, чувствуя, как дрожь волнения охватывает все ее тело. Теперь она стояла перед огромным восьмиугольным столом аббатисы, сжав переплетенные повлажневшие пальцы.

За ее спиной, в противоположной от окон стене, высился отделанный черным мрамором камин с блестящими, покры-

тыми перламутром спиралями решетки. Он был холоден, от солнечного света его загораживали две деревянные ширмы с резными изображениями цветущих цикламенов.

Аббатиса Лолит некоторое время молча смотрела на воспитанницу, грусть изливалась во взгляде ее. Письмо с большой сургучной печатью на шелковом шнурке дрожало в руках. Мари-Клер ощутила, как трепет, охвативший ее, усиливается, нежданная тревога кольнула сердце: неужели письмо, которое аббатиса держит в руках, касается ее. Что написано в этом письме и… и почему любимая воспитательница так грустна…

– Пододвинь стул и присядь, девочка моя, – попросила сестра Лолит свою подопечную, – нам надо о многом побеседовать с тобой. Время пришло.

Она указала на стул с высокой резной спинкой – он стоял почти у окна, обтянутый красной кожей, увитый железом, тяжелый… Мари-Клер пришлось напрячься, чтобы сдвинуть его с места. Когда же она подтащила его к столу аббатисы и взобралась на него, – мавританский стул к тому же оказался еще и высок, – старинная кожа скрипнула, словно недовольно вздохнула.

– Нам предстоит расстаться с тобой, – начала сестра Лолит, решив сразу сообщить самое главное.

Мари-Клер вздернула брови и испуганно смотрела на воспитательницу – она не понимала толком всего значения услышанного и растерялась.

– Я получила письмо от твоей содержательницы, – аббатиса перевела взгляд на бумагу, которую положила перед собой, – от принцессы Орловой…

– Я ничего не знаю о принцессе… – пролепетала Мари-Клер и осеклась, так как не смогла повторить имени, только что произнесенного наставницей.

– Принцесса Орлова живет далеко отсюда, – объяснила ей аббатиса терпеливо, – но она неустанно заботится о тебе…

– Но я не знаю никакой принцессы… – Мари-Клер выставила вперед руку, словно хотела загородиться от неизбежного, голос ее, и без того неуверенный, сделался совершенно робок – аббатиса Лолит едва расслышала его. Мари-Клер опять запнулась…

– Я полагала, – слова аббатисы обволакивали воспитанницу ласково, успокаивающе, – я очень надеялась на то, что принцесса Орлова не захочет излишне обременять себя и оставит тебя с нами, в нашем монастыре. А потому я не начинала с тобой разговор, который вынуждена вести сейчас. Я надеялась, что нам гораздо позже придется поговорить и о принцессе Орловой и о твоих родителях…

– О моих родителях? – Мари-Клер встрепенулась и отняла руки от лица, на щеках ее блестели слезы. – Они живы, матушка аббатиса? – в вопросе девочки прозвучала надежда и одновременно страх. – Почему они никогда не приезжали ко мне?

– Увы, они умерли, – вздохнула аббатиса, – и уже давно, в

тот год, когда ты только появилась на свет. То было ужасное время, правда, с тех пор оно нисколько не сделалось лучше. Шла война. Твои родители погибли. Все эти годы, – сестра Лолит задумалась, как объяснить девочке, что все четырнадцать лет ее пребывания в монастыре княгиня Орлова из России неизменно присылала деньги на ее воспитание и суммы эти были настолько велики, что их хватало не только на Мари-Клер, а еще на несколько воспитанниц-сирот, лишенных опеки.

Кроме того, узнав о достатке княгини Орловой, кармелиты взяли на себя смелость попросить у нее денежной помощи на восстановление некоторых построек в монастыре, пострадавших в войну от нападения австрийцев. Княгиня Орлова вполне могла бы отказать аббатисе Лолит в просьбе, но она, наоборот, откликнулась весьма охотно. Присланных из Петербурга средств хватило даже на то, чтобы окончательно поправить внутреннее убранство башни халифа Шируха, где теперь аббатиса беседовала со своей воспитанницей, – а башня простояла недостроенной почти сто лет!

Как же теперь аббатиса Лолит могла допустить мысль, чтобы возразить принцессе Анне, когда та, в самом деле неожиданно, изъявила желание забрать Мари-Клер в Петербург. Но аббатиса Лолит искренне любила свою девочку, и потому печаль стискивала ее сердце в преддверии разлуки. Как еще сложится судьба ее любимицы?!

– Видишь ли, Мари-Клер. – Аббатиса Лолит помогла де-

вочке слезть со стула и подвела ее к окну, они обе смотрели на море. – Родная моя, милая моя… Поверь, я предпочла бы никогда не расставаться с тобой. Мне хотелось бы всегда быть рядом, чтобы видеть, как ты растешь. Но на свете есть разные дороги, и жизнь в монастыре – только одна из них, возможно, и не самая привлекательная для женщины. Ни ты, ни я в самом деле не распоряжаемся нашими судьбами. Моя жизнь без остатка принадлежит Богу. Имея все, что только может пожелать женщина в миру, я однажды сама выбрала этот путь, и никогда не пожалела о том. Но я не могу вынуждать тебя следовать за мной, пока ты еще не открыла другую жизнь – жизнь за стенами монастыря. Если когда-нибудь, когда ты станешь взрослой и искренне поймешь, что желаешь вернуться в стены родной обители, чтобы посвятить себя Богу, знай, независимо от того, буду ли я жива или Господь уже призовет меня к себе, тебя с радостью примут здесь. Здесь твой дом. Но для того, чтобы узнать, какова она, дорога к дому, надо однажды решиться и уйти из него… Вполне вероятно, что тебе не захочется возвращаться назад и принцесса Орлова поможет тебе найти свое место в мирской жизни.

Обхватив руку воспитательницы, Мари-Клер приникла к ней и тихо спросила:

– А принцесса Орлова, какая она?

– Я не знаю, – ответила аббатиса, – я никогда не встречалась с ней. Но все время, что ты прожила с нами, она достойно выполняла обязательства, которые взяла на себя пе-

ред твоей покойной матерью.

– А кем была моя мать? – Мари-Клер затаила дыхание: она давно уже готовилась задать этот вопрос и много раз представляла себе, как она спрашивает у аббатисы о самом дорогом, о сокровенном, и даже много раз воображала себе ответы. Она только никогда не могла себе представить, что, именно спросив о своей матери, она услышит в ответ… о революции.

– Твоя мать умерла совсем молодой женщиной, – вздохнула сестра Лолит, – она происходила из знатной, даже знаменитой семьи и носила титул маркизы де Траиль. Когда она была примерно такой же юной, как ты сейчас, жизнь ее перевернулась – случилась революция.

Мари-Клер вздрогнула.

– Бедные люди, – словно не заметив этого, продолжала сестра Лолит, – возмутились против власти короля Людовика и казнили его. Они преследовали и казнили всех, кто был приближен к королю, море крови лилось тогда во Франции. Но твоей матери повезло – ее старший брат Александр вступил в революционную армию и его семью пощадили. Потом к власти пришел революционный генерал Бонапарт. Он одержал много побед, и при нем Франция стала великой, но государи других стран, объединившись, все-таки одолели его, и Бонапарт был изгнан. В тот год, когда Бонапарта сослали на остров Святой Елены, ты и появилась на свет, девочка моя, а твоя мать скончалась от тяжелой болезни. Увы, я не

была знакома с ней, – сестра Лолит обняла Мари и крепче прижала ее к себе, – но полагаю, что принцесса Орлова, которая знала твою мать гораздо лучше, расскажет тебе о ней и о ее братьях – они погибли в той войне, и о твоем отце…

– Он тоже погиб на войне?

– Он был одним из самых знаменитых генералов Бонапарта. И он был очень красив собой. И очень смел…

Аббатиса Лолит замолчала. Одинокая чайка беззвучно взмыла к небесам и камнем бросилась к воде… А через несколько дней за Мари-Клер приехали посланцы из России.

Дорожная карета, короткое прощание, сдавленный слезами вскрик – и вот уже Каталана превратилась всего лишь в грезу: облицованный мрамором двор монастыря, где древние мавры украсили водоем лепными изображениями львов. Аромат цикламенов за ажурными решетками, широкий, благоухающий ковер фиалок, алые цветы граната и темно-фиолетовые ирисы. Струи фонтанов рассыпаются жемчугом и звенят, как струны гитары, постепенно сливаясь со звоном бубенцов…

Она еще приедет сюда через несколько лет. И встретится с аббатисой Лолит. Но не для того, чтобы вернуться окончательно в родной дом и принять постриг, а для того, чтобы найти в любимой воспитательнице союзника и друга не только для себя, а для той далекой, холодной страны, которой она совсем не знала, отправляясь в Петербург растерянной, несчастной и испуганной девочкой всего лишь четырнадца-

ти годов от роду.

* * *

В подмосковном имении Кузьминки, что прикорнуло средь пологих холмов и березовых рощ на живописном берегу Москвы-реки, молодой князь Александр Потемкин проснулся в своем кабинете с тяжелой головой и с ощущением виновности во вчерашней неприятной истории. Накануне ему пришлось выслушать немало упреков от матушки да еще в присутствии прислуги. Впрочем, на матушку Александр зря не пенял – знал, что заслужил разнос.

Елизавета Григорьевна Потемкина, в замужестве графиня Анненкова, на выходки единственного сына смотрела сквозь пальцы, требуя лишь соблюдения светских приличий, но вчера не выдержала. В кои веки раз попросила Сашу не опаздывать и приехать к ней из Петербурга в срок, но где там! Отрапортовавшись государю, молодой князь из Петербурга все же выехал, хотя Елизавета Григорьевна полагала, что он и там вполне может задержаться надолго: либо попадется кто-то из бесчисленных его гвардейских дружков, либо княжна Лейла Урусова дуться прекратит и воспылает к полковнику прежней страстью – тогда и вовсе Сашеньку не дождешься.

Однако Бог миловал. Гвардейские дружки поиздержались на картах да на дуэлях поранились, а княжна Лейла повсю-

ду выказывала свою новую благосклонность – к уланскому ротмистру князю Голицыну. Как выходило, чтобы князя Потемкина в ревность ввести. Но Александр в ревность входить не стал – все же поехал к матушке. Но по дороге он таки не утерпел, завернул в Москву, и тут в Английском клубе встретил молодой князь давних своих приятелей, Давыдова и Пушкина, – вот и началось!

А собственно, все началось с того, что генерал-лейтенант Денис Давыдов, уж не с седым локоном в шевелюре, как бывало в двенадцатом году, а почти весь седой, по старой еще гусарской привычке рассказал анекдот, и не просто о чем-то, а про холеру. Холера в то время бушевала в центральных губерниях России. Дороги в ту сторону перегораживали карантины. Кое-где в поволжских селениях и городах поднялись народные мятежи. Побаивались холеры и в Москве. В страхе рассказывали друг дружке, шепотком, что, мол, бывали уже случаи. Как бы то ни было, а близость эпидемии ощущалась: шумные улицы обезлюдели, в присутственных местах и заведениях пахло сладковатым дымком старинных лечебных трав.

Вот в такой невеселой обстановке Денис Давыдов, направляясь с Сашей в Английский клуб, шутил тоже мрачно:

– Вообрази себе, друг мой Александр Александрович, встречаются два приятеля, вроде нас с тобой, и один из них говорит другому: «Скверная, брат, штука, эта холера! Вот мы сегодня с тобой мило беседуем, смеемся, а завтра захо-

дишь ты ко мне… – Тут господин этот запинается и поправляется сразу: – Нет, я к тебе захожу. А ты уже того… готов то есть! А, Саша? – Давыдов подтолкнул Потемкина в бок. – Запиночка-то какова? Чуешь? Без слов человека рисует.

– Чуять чую, – откликнулся лукаво Саша, пыхнув трубкой, – только в нашем с тобой случае, Денис Васильевич, кто же все-таки к кому заходит первым? – И оба засмеялись.

– Где вы пропадаете? – В Английском клубе их уже дожидался Пушкин. За столом разговор с холеры немедленно переключился на недавнее сватовство Александра Сергеевича, и тоже получился нерадостным. Сватался Пушкин к московской красавице Наталии Николаевне Гончаровой.

– Ну а матушка у нее, я вам доложу, господа, – жаловался Пушкин, – ханжа сварливая. Всю обо мне подноготную собрала, да и вывод сделала для себя, что жених, мол, Наталии не выгодный вышел. Состояния не имеет, да еще стишки пописывает – несерьезно вовсе. Более того, разволновалась она, будто на дурном счету нахожусь я у государя…

– А кто ж у него на хорошем-то? – усмехнулся Давыдов.

– Я к Бекендорфу обратился, – горячился Пушкин, – дабы разъяснить ложное и сомнительное положение свое. Так ответ поступил, что к предстоящей женитьбе моей государь относится благосклонно, и не под гневом у него нахожусь я, но под отеческим попечением Его Величества…

– Сочувствую вам, Пушкин, – откликнулся князь Потемкин, – уж я-то знаю, какое это скучнейшее занятие, во всем

озираться на царственных особ. Мне вот государыни-бабушки вполне достаточно. Я еще сам не успею узнать, как зазнобу мою по имени кличут, а Марии Федоровне уже про то известно. Так скажи хотя бы, теща-то будущая довольна осталась?

– Довольна, – вздохнул Пушкин, – но то еще не все. Я своему батюшке в ноги кинулся, чтоб наследством не обделил. Отец вывернулся, отделил нам деревеньку Кистеневку близ села Болдино Нижегородской губернии. Государь позволил даже «Бориса Годунова» моего напечатать…

– О! – не утерпел Давыдов, прихлебнув шампанское. – Каково!

– Уж помолвку отпраздновали, – продолжал с сожалением Пушкин, – а тут объявляюсь я из Петербургу, а теща будущая встречает меня насмешками да упреками. Все с колкостями, с колкостями, опять про стишки сказывает, зачитывает по памяти. Так я не стерпел, друзья, – поэт горестно мотнул головой, – в долгу перед ней не остался. Слово невесте возвратил, да и не простясь уехал от них.

– Молодец! – похвалил искренне Давыдов. – А почто старуху зря терпеть! Дверь настежь – да только и видели. Пущай иного такого поищут. Жена – что? Шапка с ушами – вся голова в нее уходит.

– Вот от того-то ты, Денис Васильевич, все холостым и ходишь, – подколол его Потемкин.

– Не пошла Лиза Злотницкая за меня, – усмехнулся в усы

старый гусар, – покрасивей нашла. Теперь и маюсь.

– Вот и Натали Гончарова не пошла, – подмигнул Пушкину Потемкин. – «Я помню чудное мгновение…» Не вы ли писали, друг сердечный? А оно, мгновение-то… Было мгновение… И выходит, больше нет его…

– Не ерничай, – одернул его Денис Давыдов. – Не видишь, болит у поэта душа.

– Коли душа болит, то средство верное имеется супротив того, – сразу предложил Потемкин, – двинемся к актрисам, господа. У Майкова в театре такие красотки имеются! Они прошлым летом в поместье самого Аполлона Александровича рядом с нашими Кузьминками жили. Ох, горячи! Что скажешь, Денис Васильевич, – задорно обратился он к генералу, – раз прелестница Натали с матушкой не любят нашего друга, а холера идет. Помирать станем, так будет что вспомнить хотя бы. А?

– А то тебе, ваша светлость, по этой части вспомнить нечего, – поддел его Давыдов насмешливо, – хоть княжну Лейлу вспоминай…

– О, не говорите про нее, – почти простонал Александр.

– Только мне с вами уж не по годам. – Давыдов покачал головой и, пыхнув трубкой, потупился.

– Так уж ли? – не согласился с ним Потемкин. – Старый конь, знамо дело, борозды не портит. Отказы не принимаются! Сказано – отрезано.

Вот так, вместо того чтобы ехать к матушке в Кузьминки,

князь Александр Потемкин отправился с друзьями к воспитанницам московского театрального училища. В то время в Белокаменной особой красотой и изяществом славились певицы и танцовщицы Саша Иванова и Таня Новикова.

Грациозная синеглазая Таня очаровала Александра и заставила его забыть кипевшую в сердце обиду на княжну Лейлу. Еще прошлым летом бойкая, по-цыгански чернобровая актриса не в шутку увлеклась красивым и знаменитым петербургским франтом. Об Александре Потемкине она слышала немало. Кроме того, что он приходился родным, притом единственным, сыном покойному императору Александру Павловичу, над его чернокудрявой головой сиял нимб героя Бородинской баталии и всей компании двенадцатого года, особый же интерес женщин вызывал также шлейф любовных побед, разбитых женских сердец и выигранных дуэлей, тянущийся за князем.

Едва только Саша появился в гримерной, – точнее, сперва появилась огромная корзина белых роз, а уж за ней и сам князь, – у Тани захватило дух от восхищения им. Она испытывала жар наслаждения, который истомой растекался по ее телу под взглядом блестящих зеленых глаз молодого гвардейского полковника.

Удачное совпадение, но по окончании представления в театре Таня оказалась свободна. Она отказала всем своим поклонникам. И словно угадав, надела самое красивое свое платье из ярко-зеленого бархата, юбка которого чуть сужа-

лась впереди, а сзади она открывала черную атласную нижнюю поддеву, покрытую блестками.

Им принесли шампанское, взгляд Александра без слов говорил Тане, что у нее самые чудные волосы, самая прекрасная грудь, которая так замечательно выступает в глубоком декольте, и самая восхитительная ножка в атласной туфельке. Обняв Таню за талию, Саша пересадил ее к себе на колени, она подставила пылающее лицо и ощутила жаркое прикосновение его горячих сильных губ.

Сдернув платье, он сжал ее набухшие от желания груди и прижал к себе так, что молодая актриса отчетливо ощущала биение его сердца. Кровь ударила в голову девушки, воспламенив тело, и она расслабилась, отдавшись любви князя.

Когда же он овладел ею и страсть угасла, Таня отодвинулась и взглянула на возлюбленного. Полковник держал в зубах зеленый лист розы и с полуулыбкой на устах покусывал его. Почувствовав взгляд Тани, Александр обернулся и снова потянулся к ней губами. Нежно обнял – она с благодарностью приникла к нему.

Из Москвы выехали поздно ночью. Как добрались после до Кузьминок, Александр плохо помнил, как отчитывала его матушка в сенях – вспоминалось лучше, а вот приехал он в Кузьминки один или все же Пушкин с Давыдовым вместе с ним пожаловали – тоже воскресить в памяти не удавалось. Вроде бы приглашал их. Вероятно, выяснится позже. Уж матушка Елизавета Григорьевна наверняка их запомнила. Са-

ша вовсе не удивился бы, если бы и Таня тоже оказалась с ними. Но скорее всего, она осталась в Москве. Иначе она была бы с ним, в его постели. Где же еще?

Большие золоченые часы на камине пробили одиннадцать. Александр встал, набросил на смятую белую рубашку шелковый халат, поднял лежавший на полу рядом с кроватью китель, поблескивающий золотыми эполетами, бросил его на кресло. Потом подошел к окну и поднял тяжелую штору. Невольно прищурился – день выдался ясный, солнечный, просто ослепительный!

В воображении снова возникла Таня – едва различимое шуршание шелковых юбок, горячность объятий и очаровательный черный бант над виском, соскальзывающий с волос. Блестящие синие глаза, тонкая обнаженная рука, сползающая по его плечу, почти прозрачные пальчики с аккуратно подточенными ноготками, жемчужинки на перстнях – ноготки царапают и впиваются ему в кожу при каждом вздохе. Неужели он не догадался привезти ее с собой в Кузьминки? Хотя… Оживленное воспоминание о Тане тут же сменилось другим: только сейчас Александру пришло в голову, что в грядущий день ему предстоит познакомиться с иной особой, из-за приезда которой вчера и устроила ему матушка разнос.

Давняя подруга княгини Потемкиной, Анна Алексеевна Орлова, княгиня Чесмы, ставшая теперь, верно, инокиней Ефросиньей в Богородицком монастыре, обещалась привезти в Кузьминки юную француженку именем Мари-Клер, о

которой она заботилась почти четырнадцать лет. Елизавете Григорьевне очень хотелось, чтобы по приезде Мари-Клер в имение вся семья оказалась в сборе – но Саша опоздал. Мари-Клер приехала без него, если приехала, разумеется.

У небольшого фонтанчика под окном, обсаженного голубыми и розовыми фиалками, пробежала борзая собака Липат – торопилась на поварню к своему собачьему завтраку, – а за ней из тенистой аллеи еще не отцветших кустов бело-розовой персидской сирени появилась незнакомка. Раздвигая ветки, она сделала несколько шагов к фонтану. Легкий весенний ветерок шевелил ее голубое платье из тонких кружев с отделкой из серебра – оно колыхалось и подчеркивало еще девичьи, но очень нежные и грациозные очертания фигуры. Длинные золотисто-пепельные волосы были заплетены в косу – переброшенная через плечо, она опускалась до пояса, ее обвивала широкая шелковая лента. Золото завитков усиливало влажную синеву глаз незнакомки, а лучи солнца, пробивающиеся сквозь ветви, венчали голову девушки сияющим нимбом.

Александр распахнул окно и, скинув халат, как был, в белой рубашке с кружевным жабо, форменных брюках и высоких сапогах-ботфортах, спрыгнул на землю. Шпоры высекли искры, ударившись о камни, которыми была вымощена дорожка.

– Мадемуазель!

– Ах! – Незнакомка испугалась и отступила назад. Ее зо-

лотые волосы при этом движении прилегли к щекам, а глаза, синие как море, потемнели. Она смотрела на молодого человека, высокого, широкоплечего, статного, и испуг во взгляде ее мешался с любопытством.

– Вас зовут Мари-Клер? – спросил он по-французски и, отломив ветку с пышным розоватым цветком, протянул девушке. – Князь Александр Потемкин, – представился он с улыбкой, отметив, насколько смуглее кожа приезжей француженки, чем у Тани, например, но все же светлее, чем у княжны Лейлы, и кажется совершенно матовой. От взгляда его ярких зеленоватых глаз, блестящих на загорелом лице, девушка смутилась, на щеках ее вспыхнул румянец, но цветок она приняла, даже присела в реверансе…

– Да, да. Тот самый Александр Потемкин, дорогая моя, которого мы не дождались вчера за ужином, – вслед за Мари-Клер из аллеи вышла княгиня Орлова, одетая в черное монашеское одеяние. Темно-русые волосы княгини с проседью зачесаны были гладко, у все еще прекрасных, искрящихся глаз сложились неумолимые морщинки. – Здравствуйте, Сашенька, – приветствовала она полковника. – Позвольте заметить, что припозднились вчера, ваша светлость.

– Драгоценная моя Анна Алексеевна. – Александр склонился, целуя руку княгини. – Я полагаю, что вы-то простите меня. Неужто с покойным Михаилом Андреевичем ничего подобного не случалось? – поинтересовался он лукаво.

– С покойным Михаилом Андреевичем по молодости еще

не такое случалось, – согласилась с ним Орлова, – да и на старости бывало, честно признать. Потому я на вас, Сашенька, не сержусь, а вот матушка ваша, Елизавета Григорьевна, гневается.

– Так моя матушка по благословенной государской мерке судит, – заключил Саша просто, – а мы с вами, дорогая Анна Алексеевна, всего лишь по простейшей, смертной. Рад увидеть вас в здравии, государыня. – Александр еще раз поцеловал руку княгини и, снизив голос, спросил: – А приехал-то я вчера один или еще кто со мной был?

– Как же один?! – воскликнула Анна. – Отчего матушка ваша вовсе покой потеряла – всей честной компанией явились, и ни одного ноги не держат. Давыдов с Пушкиным в гостевой почивают еще. Храп стоит. Ладно уж ты да тезка твой – поэт, соколики молодые. Ну а Давыдов-то? Уж Давыдов-то наш! Он – куда?

– Старый конь борозды не портит, а по трубе боевой всегда в строй стремится, – пошутил Саша.

– Оно и видно, что по трубе, – недовольно поморщилась Анна Алексеевна, – кто только в трубу ту дудит. Я вот ему невесту в Москве присмотрела, Сонечку Чиркову. Милейшее создание: умна, образованна, домовита. Глядишь, успокоится, остепенится наш гусар, если снова прямо из-под венца не ускачет в поле вольное. Но о том – после. – Она обернулась к девушке, которая скромно стояла в стороне, прижав к груди цветок, подаренный Александром: – Слышала, пред-

ставился ты уже гостье нашей. Позволь и мне ее тебе представить: мадемуазель Мари-Клер, графиня де Траиль. Она воспитывалась в кармелитском монастыре в Марселе, а теперь будет жить у вас в Кузьминках, ты решение своей матушки знаешь.

– Очень рад. Добро пожаловать, мадемуазель, – Александр щелкнул каблуками, шпоры снова звякнули о камни, он склонил голову, тряхнув густой черной шевелюрой. – У нас в Кузьминках жизнь покойная, места вокруг прекрасные, вот монастырь Богородицы совсем рядом, если вы вдруг о кармелитах заскучаете, – молодой полковник попробовал съязвить, но строгий взгляд Анны Алексеевны остановил его, и он продолжил с прежней сдержанностью: – Матушка моя лишь ко мне строга с полным правом, а так великодушна и добра безмерно. Полагаю, вы скоро убедитесь в том, мадемуазель. Конечно, в Кузьминках скучновато…

– Для вас, Александр, – поправила его Орлова. – Для вас и Пушкина очень скучновато. Да и для Дениса Васильевича, как оказалось, тоже. А для нас с Мари-Клер – в самый раз. Успеется еще, поглядит она на Петербург да на тамошних дворцовых красавцев. А пока пообжиться надо ей, привыкнуть. Вот мадемуазель изъявила желание русский язык изучать…

– Желание похвальное, – Александр едва сдержал улыбку, – я полагаю, под мудрым попечительством моей матушки и любезной Анны Алексеевны вы вскорости достигнете

успеха, и не только в русском языке…

– Прощеньица просим. – Из аллеи появился денщик князя Афонька и, поклонившись, сообщил: – Там государыня Елизавета Григорьевна к столу кличут. Генерал Алексей Петрович Ермолов пожаловали, иные гости опять же…

– Что ж и Пушкин с Давыдовым проснулись? – насмешливо поинтересовалась Анна Орлова. – Или разбудили их. Что-то не слыхать было пушечных выстрелов. Иначе как их поднимешь?

– Проснулись, матушка, – еще раз поклонился Афонька.

– Ну, коли так, идемте, Мари, – пригласила Орлова французскую гостью. – А вы, Сашенька, приведите себя в порядок и присоединяйтесь к нам, – добавила она, обращаясь к князю.

– В один миг, сударыня, – весело откликнулся Саша, и на глазах изумленной Мари-Клер вернулся туда, откуда и появился: подтянувшись на руках, легко, одним махом вскочил в окно своего кабинета. Блеснув белозубой улыбкой, исчез в комнате.

# Глава 3

Завтрак княгиня Елизавета Григорьевна распорядилась подавать на открытой веранде, с которой хорошо были видны покрытые нежной весенней порослью берега Москвы-реки. Сама хозяйка дома, одетая в платье из тончайшего английского муслина цвета амаранта с глубоким декольте, открывавшем ее все еще высокую, красивую грудь, сидела во главе стола рядом с мужем, кавалерийским генералом в отставке графом Алексеем Анненковым. Обнаженные плечи княгини покрывала шелковая шаль шафранного оттенка, вышитая гиацинтами. На широкой золотой цепочке в промежутке между грудями виднелся золотой крест, сплошь усыпанный изумрудами.

С тех пор как княгиня Таврическая поселилась с вернувшимся из сибирской ссылки супругом в имение Кузьминки, здесь все обустроилось с петербургским изыском и размахом, близким сердцу возлюбленной покойного императора Александра. За столом распоряжался метрдотель, при каждом приглашенном находился свой слуга в шитой серебром ливрее, который обслуживал только его: менял приборы, подносил угощения, которые стояли не на общем столе, а на буфетных стойках в стороне.

Вопреки аскетизму нового государя, требовавшего того же и от подданных, в Кузьминках даже на завтрак подава-

лось не менее четырех видов закусок, шесть легких блюд, два жарких и шесть десертов. По старой екатерининской традиции кушанья на стол подносили все сразу и несколько беспорядочно, не согласуясь с модой девятнадцатого века, позаимствовавшей у англичан их чинность и последовательность в смене блюд. Посуда выставлялась обязательно из серебра или вермеля, и только за десертом княгиня Елизавета Григорьевна разрешила подавать фарфоровые, с золотой прожилкой, тарелочки, в центре которых были выгравированы ее инициалы.

В день приезда Мари-Клер княгиня Таврическая потчевала своих гостей особо приготовленным по поводу французской гостьи угощением – фазаньи мозговые колбаски под укропным соусом. Рассадка за столом была свободная.

Мари-Клер, заметив знак княгини Орловой, поспешила сесть рядом с ней. Тогда как с другой стороны, предварительно спросив разрешения мадемуазель, занял место сын Елизаветы Григорьевны, князь Александр Потемкин. Он поспел к самому жаркому, явившись в щегольском полковничьем мундире с малиновыми отворотами и блестящими золотыми эполетами, надушенный, причесанный, красивый до головокружения, и окончательно смутил Мари-Клер, так что она уже не могла думать о еде, а исподволь наблюдала за князем. Елизавета Григорьевна встретила сына строго:

– Все то, что я сказала вам вчера, Александр, не утратило силы с наступлением нового дня. Я впредь прошу вас с

большим вниманием относиться к моим просьбам, тем более, что не так уж часто я вас о чем-то прошу…

Заслышав ее голос, Александр встал и прослушал выговор молча, склонив голову.

– Я виноват, матушка, – проговорил он, когда княгиня закончила, – и прошу вашего извинения.

– Вправду, прости его, Елизавета Григорьевна, – вступился за друга Денис Давыдов, – я ж во всем виноват. И зачем только рассказал этот анекдот про холеру, а потом еще в Английский клуб его потащил…

– Если бы ты не повез Сашу в Английский клуб, вы бы не встретили там Пушкина, – вступила в разговор Анна Алексеевна, – а теперь он у нас в гостях. Однако он грустен. – Она с сочувствием взглянула на поэта: – Не болен ли?

– Он только что расторг помолвку, – сообщил за Пушкина князь Александр. – Чего ж радоваться?

Видимо, не желая рассказывать обществу перипетии своей ссоры с будущей тещей, Пушкин перевел разговор на иную тему. Он вспомнил, как приехал к княгине Зинаиде Волконской проводить Машу, дочь генерала Раевского, отъезжавшую к мужу в Сибирь.

– Она плакала, когда слушала музыку в тот вечер. Ведь не знала наверняка, доведется ли еще. О, сколько, сколько разбитых семей и сердец! – воскликнул с искренностью Александр Сергеевич. – Несчастный Николай Николаевич, он слег, как она уехала. Так уж и не поднялся больше. Я пе-

рееду через Урал, поеду дальше, – горячился поэт, – паду к ее ногам и буду просить пристанища на Нерчинских рудниках… Как вы полагаете, Алексей Александрович, – обратился он к Анненкову, – я выдержу там?

Генерал Анненков только молча пожал плечами, но взгляд его опутанных тонкой сетью морщин синих глаз помрачнел.

– Не торопитесь, Александр, – ответила за мужа Потемкина, – поверьте мне, доехать туда – уже труд великий. Я сделала его, но не желаю вам того же. Стоит ли жертвовать собой из-за разочарования в невесте. Вы успокоитесь скоро, и все пойдет чередом…

– А кто же будет сочинять здесь? – возмутился Давыдов. – Опять только я и бедный Жуковский? Но это же предательство, друг мой… Нашего брата-поэта вовсе наперечет. Кстати, вы слышали, – сообщил он, – коли уж зашла речь о сочинителях… Бестужев пропал на Кавказе…

Воспользовавшись, что все отвлеклись на известие Давыдова, Пушкин шепнул князю Потемкину:

– Таня вслед за тобой приехала, у соседей остановилась. Уж человек приходил от нее. Ждет тебя, как стемнеет. Эх, жалко Сашенька не смогла за ней увязаться. А так мила, так мила…

– Позвольте спросить, князь, – решилась заговорить с Потемкиным Мари-Клер, – кто же таков этот месье Бестужев, которого все жалеют?

– Месье Бестужев, мадемуазель, – откликнулся полковник, хотя мысли его были далеко – они тянулись к Тане. – О, он служил адъютантом принца Вюртембергского, родственника государыни Марии Федоровны. Весьма любезный, остроумный молодой человек, блестящий офицер и дамский угодник. Однако с той же страстностью, с коей он предавался развлечениям, он увлекался сочинительством. Печатался под псевдонимом Марлинский. Дивные повести, честное слово. Когда начнете читать по-русски, прочтите, мадемуазель, не пожалеете, – посоветовал он. – Весьма занимательно. В связи с декабрьским делом государь сослал Бестужева на Кавказ…

– Мне написал генерал Розен, – заговорил генерал Ермолов, – что Бестужев отправился с экспедицией на Цебельду. На них напали черкесы. Бестужев был ранен в перестрелке. Его горцы уволокли с собой. Погиб ли, жив ли – никто не знает…

Алексей Петрович Ермолов, по матери двоюродный брат Дениса Давыдова, ехал из Петербурга, где сдавал кавказские дела, в Орел к своим родным и по пути завернул погостить в Кузьминки по приглашению княгини Потемкиной. В тот год герою Отечественной войны с французами легендарному начальнику штаба Первой русской армии исполнилось сорок девять лет. Пять лет он безраздельно правил Кавказом. За это время вокруг имени Ермолова, и без того славного, скопилось столько загадочных толков и слухов, что они не могли

не докатиться до нового государя. Проконсул Кавказа, как называли за глаза Ермолова, одних восхищал, а других ужасал.

Львиная грива Ермолова, известная многим по портрету в галерее Двенадцатого года в Зимнем дворце, густо посеребрилась, под глазами легли морщины, отпущенные усы старили его, придавали лицу выражение жестокости. Взглянув на незнакомого ей генерала, Мари-Клер почувствовала вдруг, как ее охватила нервная дрожь, и, несмотря на солнечную, теплую погоду, она ощутила в сердце холод. Как будто почувствовала, что этому суровому, волевому человеку предстоит сыграть в ее судьбе нешуточную роль.

Ермолов повернул голову – взгляд его холодных светлых глаз скользнул по юной француженке. Он слабо улыбнулся. Резкие складки морщин на крупном, мужественном лице стали еще явственнее, темные круги под глазами и крайняя раздражительность – заметнее. Завистники устроили так, что долго подкапывавшийся под Ермолова генерал Паскевич теперь все же одержал верх и всесильный проконсул уезжал побежденным, так и не осуществив своих планов.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.